

# ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ И ПОЧЕМУ Я НЕ ПЕРЕСТАЛ ИМ БЫТЬ ВО ВСЕХ ФАЗАХ МОЕГО ИДЕЙНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

## I

Почему я стал символистом. На это ответят нижеследующие разъяснения мои.

Но прежде всего должен отметить основную *тему* символизма в себе. Я различаю себя в этой теме двояко (или даже трояко); я ощущаю в себе становление темы символизма так, как она пела в душе моей с раннего детства; и я осознаю эту тему в усилиях ее идейно выгранить — уже позднее: при встречах с людьми; здесь вступают: идеологический момент и момент социальный; появляется "мы", коллектив и мечты о партии; и в этом втором моменте я отличаю два, так сказать, подмомента: совместное вынашивание символизма в целом интимном идейного быта "*символистов*" и идеологическую фиксацию его как культурного течения русской действительности; в этой фиксации я отличаю: во-первых, то, что привнесено *мною*; во-вторых, то, на чем *мы*, символисты, пересекались согласно.

Ряд напластований лежит для меня на *моей теме*: 1) интимное "я", 2) идеологически выношенное отдельно от других, 3) с другими, 4) идейно платформированное вне тактических и полемических преломлений моментов, 5) вопросы тактики, полемики (так называемая "*школа*" в искусстве).

На вопросы о том, *как* я стал символистом и *когда* стал, по совести отвечаю: *никак не стал, никогда* не становился, но всегда был символистом (до встречи со словами "*символ*", "*символист*"); в играх четырехлетнего ребенка позднее осознанный символизм восприятий был внутренней данностью детского сознания; вспоминаю себя в одной из игр; желая отразить существо состояния сознания (напуг), я беру пунцовую крышку картонки, упрятываю ее в тень, чтобы не видеть предметность, но цвет, я прохожу мимо пунцового пятна и восклицаю про себя: "*нечто багровое*"; "*нечто*" — переживанье; багровое пятно форма выражения; то и другое, вместе взятые, символ (в символизации); "*нечто*" неопознано; крышка картонки — внешний предмет, не имеющий отношения к "*нечто*"; он же — видоизмененный тенями (багровое пятно) итог слияния *того* (безобразного) и *этого* (предметного) в *то*, что ни то и ни *это*, но *третье*; символ — это третье; построив его, я преодолеваю два мира (хаотичное состояние испуга и поданный мне предмет внешнего мира); оба мира недействительны; есть *третий* мир; и я весь втянут в познание этого третьего мира, не данного душе, ни внешнему предмету; творческий акт, соединение видоизменяет познание в особого рода познание; познавательный результат, выговариваемый в суждении "*нечто багровое*" утверждает мой сдвиг к *третьему* миру.

То, что я описываю схематично, — нерв моих детских игр; нечто, имманентное моему сознанию; взрослые; никак, ничем не задевают во мне жизнь этого нерва; наоборот: облепляют его извне поданными предметами и разъяснениями о них, не открывающими мне ничего о моих внутреннейших движениях детской души; я вынужден эти движения скрыть; да и если бы я хотел выявить эти движения, у меня нет слов; словам и смыслам их я научен извне; движения эти, мое "нечто", однако, настолько "реальность", не взятая на учет взрослыми, что, разрастаясь во мне вне слов и образов, она рассасывает во мне мое "Я"; "Я" чувствует себя утопающим в пережитиях без названия; и "я" в особой, лишь мне ведомой игре, выплывает в то, что уже ни внутри, ни снаружи, — таков в позднейшем открытии мне мир символов (не познание, не переживание, не отражение пассивное в рассудке "предмета", не творчество его, но — творчество-познание, так сказать).

Упражнение в этих играх осознано мною как собственно культура роста моего "Я"; но я брошен взрослыми в этой своей культуре (выкарабкиваясь как знаешь); и когда доктор говорит о том, что я нервный и что от меня надо отнять сказки, я чувствую, что спасительную соломинку игры в образы отнимают извне у меня, и я без нее кинут в бездну невнятицы; если бы взрослые поняли мой детский страх перед отнятием у меня сказки, они бы на своем языке выразили этот страх так: "Он борется за целостность "Я", — за то, чтобы не впасть в нервное заболевание". Шести лет я подслушиваю слова мамы об "этом" моем: "это — болезнь чувствительных нервов". Так на "их" языке; строя символические суждения "нечто багровое", "страна незабудок" и т. д., я учусь не заболеть болезнью чувствительных нервов от яркости неопознанных *восприятий*, во мне живущих; через 26 лет я узнаю в одном из циклов Штейнера, что эта яркость восприятия угрожала некогда атлантам, и, чтобы темперировать жизнь чувств, с сестринской душой Адама соединился Логос (в духовном мире); следствие этого — равновесие в переживаниях докладов органов чувств; так через 26 лет мне открыт подлинный возраст моего "Я" на рубеже третьего и четвертого года; я спасен от разрыва внутренних чувств во мне (или "болезни чувствительных нервов"); акт этого спасения — в игре соединения, в символизации, при помощи красной картонки моего, меня рвущего "нечто"; произнеся "нечто багровое", я соединил доклады разных министерств моих чувств; в символе-модели — преодоление ранних стадий лему-ро-атлантского хаоса в нечто конкретно-логическое; об *этом* моя игра; после — символизм, или акты творчески-познавательных действий, приобщающих меня миру Логоса; до-растерзы, хаосы, бред, над которым в игре я поднялся.

Так переживался мною конкретно период древнейших культур в становлении самосознающего "Я"; об этом точнее я передал в "*Котике Летаеве*"; "*Котик Летаев*" берет фразу преодоления древнего ужаса, может быть, Лемурии, — в игру: *игра* — в символизации; это — результат действия спасения где-то свыше надо мной сходящего Логоса; *символ*, или третья двух миров, пересечение параллелей в *крест* с точкой духовного мира в центре: точка — вспыхивает; это — мое спасенное от разрыва "Я"; "*Котик Летаев*" *рисует* ощущение трехлетнего, которому кажется, что его из бредов через печную дыру вынесли в квартиру, где "папа", и "мама", и "няня" бегут от "этого" (не логизированного "нечто"); оно потом дегенерирует в "буку"; которым пугают меня; но самый страх *буки* уже не страх, а моя игра в страх; я в *символе* вышел из страха.

Так бы я осветил переживания четырехлетнего *"Бореньки"* материалом узваний 30-летнего мужа; познавательные схемы антропософского цикла вполне объясняют мне мой опытный материал в условиях внятного его разглядывания тренированной памятью (*"Котик Летаев"* — опыт тренировки); но и ясно отсюда: без опытного материала материал антропософских лекций — пуст; только в соединении с опытом лекции эти понятны; вне — они суть схоластика; чем мудренее, тем мельче схоластика перерождается в корковом слое мозга; антропософ, если он не *символист*, т. е. если он не умеет производить соединений извне поданного материала с опытом, имманентным жизни его, — явление просто чудовищное; а символист, отвергающий логический генезис своих опытных невнятиц, — дегенерирует в нервноболезного, если он искренен (Блок), либо в аллегоризирующего стилиста, если он неискренен (Вячеслав Иванов). Но я забегая вперед.

Четырех лет я играл в символы; но в игры эти не мог посвятить я ни взрослых, ни детей; те и другие меня бы не поняли — я в этом убежден; и — притаился (так стал *"эсотериком"* я с четырехлетнего возраста); на мне росли мины и маски; святочная личина открылась в переживаниях мне, пятилетнему; я надел ее; и стал личностью; это было, вероятно, вступлением моим в греческий период; *"Боренька Бугаев"* с того времени сознательно развивал *"мимикри"* среди взрослых; условия его отрочества и даже юношества были таковы, что что-то от *"личины"* приросло к лику индивидуума; в позднейших символизациях жизни и *"Борис Николаевич"*, и *"Андрей Белый"*, и *"Унзер Фрейнд"* вынужден был изживать свое самосознающее *"Я"* не по прямому поводу, а в диалекте ритмизируемых вариаций *"Я"* личностей-личин, из которых ни одна не была *"Я"*; причина, почему *"Я"* не изживаемо в личности-личине, уже с семилетнего возраста — предмет мучительных раздумий и игр всерьез, или вариаций поведения. Неудивительно, что тема в вариациях, идея многообразия, комплексности индивидуума, в чем бы он ни выражался (в мировоззрении, в мечте о коллективе, в упражнениях моральной действительности), стала естественным приращением к теме символа (два ряда жизней, пересекаемых в третьей); триадизм, осложненный плюрализмом вариаций, тональностей, методов, — и идеологическая тема жизни, и мироощущение опыта, и муки моральной жизни, осложненные непониманием моего *"Я"* на протяжении *"47"* лет; это *"Я"* уже с семи лет знало и уже с 17 лет осознало, что никакое *"Я"* по прямой линии невыражаемо в личности, а в градации личностей, из которых каждая имеет свою *"роль"*; вопрос о режиссуре, о гармонической диалектике в течениях контрастов и противоречий *"Я"* в личностях по эпохам развития, по степеням понимания этого *"Я"* другими, по разным коллективам, в которых приходилось одновременно работать, вырос отсюда; последовательность поведения не в прямолобом усилие впереть индивидуум в личность; следствие такого *"вперения"* — разрыв личности; и не в отрезе себя, одной личности, от градации их, данной в *"Я"* (элементарное представление о верности себе), а в гармонизации течения *"личностей"* в круге; так проблема моральной фантазии, как режиссура, а не изгнание *"актеров"* со сцены жизни за исключением одного, выявилась как проблема сперва морали ребенка (семи лет), потом, вскоре, и мировоззрения.

И с *"7"* лет до *"47"* лет (40 лет!) мое *"Я"* с удивлением стояло перед другими *"Я"*, не понимавшими проблему многообразия и режиссуры; другие *"Я"*, обвиняли мое *"Я"* в измене, когда мое *"Я"* ставило перед ними ту же тему поведения, но в другой вариации; и лишь позднее я понял, что ряд людей действительно не знают конкретно соотношения

моралей личности и индивидуума; мораль личности — последовательность как отрезок прямой; мораль индивидуума — стояние среди круга взаимно пересеченных отрезков в усилии на точках пересечения построить гармонию закономерно изменяющейся кривой.

К ужасу моему, я увидел, что большинство людей, на кончике языка умеющих оформить всю бездну, лежащую между индивидуальной и личной жизнью, в проблеме собственной жизни не видят конкретно последовательности и стремления к цельности в отличиях личной жизни от индивидуальной; и — наоборот; поскольку индивидуум есть всегда коллектив, постольку в социальной жизни они не имеют никакого представления о *ритме* жизни с другими, оценивая и себя, и других в правилах поведения личности, а не индивидуальности; их утверждения о грехах и достоинствах ближних носят характер действительной превратности, которая и является роковым законом гибели всех обществ, коммун, кружков, коллективов.

Звук об этом узании мне подан с "*личиною*", когда мне было пять лет; и в играх с другими детьми; в этих играх обнаружилась уже для меня тема непонимания меня другими; я был "*символист*" (т. е. *третье* нас двух), а многие из детей и почти все взрослые были мне выявлением во *втором* (внешнем) мире их *первого* (внутреннего); это первое было личностью; второе — личиною; между ними лежала прямая линия соединения (из внутреннего во внешнее); я же был в *третьем* (в вершине треугольника): в точке индивидуальности; линия моего поведения от внутреннего во внешнее всегда была проекцией треугольника, эмблемой; знаком, личиной; позднее я жил внутри многогранника, в ряде линий-личин.

Опыт непосредственно данного знания об этом слагался от пяти до семи лет; осознавался всю жизнь; один из крупных моментов узнавания — формула отличия личности от индивидуума, а души рассуждающей от души самосознающей; души с невыраженной индивидуальностью живут в четвертом культурном периоде в 1928 году независимо от того, понимают или не понимают они рассудочно, что индивидуум не личность; поэтому их линия от *первого* (внутреннего) ко *второму* (внешнему) миру — линия "*субъект — объект*"; они, будучи субъективистами в переживаниях души, ищут *объективности* во внешнем выражении; но их *объективность* субъективна; какова личность — такова личина; личина, данная в объективном, метода мировоззрения.

Я никогда не был объективен — сознательно, а, так сказать, много-объективен; с "17" лет проблема многообразия методов — проблема вынашиваемой теории символизма; но я не был только *субъективен* (во внутреннем самораскрытии), но — индивидуален.

Так стал я с отрочества убежденным индивидуалистом, что для меня сперва непосредственно, а потом и логически значило: социал-индивидуалистом, ибо индивидуум — социальное целое (церковь, община-ассоциация), а общество — индивидуально в своем "*общем*"; вне знания этого "*in concreto*" общество — труп.

К 1904 году это было менее четкой формулой, которую я многообразно высказывал, но которую читатели (друзья и враги) *не хотели признать*, живя, главным образом, в фикциях одно-личной, а не много-личной социальной жизни. Их социальной проблемой была проблема общества-государства, а личной проблемой — не осознанный четко собственный субъективизм. Усилия, опыты, падения и страдания моей социальной жизни — община-индивидуум; и те же падения и достижения личной жизни — противоречий личностей, как материал к ритмизации их в индивидууме души самосознающей.

Все знаки терминов, мировоззрений, слов, общений от детства до состояния внутри антропософского общества — *выворот* своего состояния среди других; другие казались в своих индивидуальных и социальных выявлениях слишком личностями (неправомерно субъективными или объективными); я же казался их "*объективизму*" субъективно непоследователен; их "*субъективизму*" — докучно принципиальным; "*непоследовательный принципиалист*" — таким я стоял перед всеми; "*объективники*" от хаоса и аритмии — такими выглядели они передо мною.

Я был "*символист*" от отроческого шопенгауэрианства до зрелой антропософии (включительно); они часто — нет; нас разделяла грань непреодоленных разделений 4-го и 5-го культурных периодов\*.

Эта грань намечалась в конце первого семилетия, когда мое выпадение в третий мир (символов) казалось мне выпадением в грех моего протеста и бунта против предрассудков "*цивилизации*", или внешнего мира (чужих детей, назиданий, квартиры, профессорского быта и т. д.).

Я стал бунтовать, но бунт — утаил.

## 2

Мои "*символические*" познания расширялись в сложностях утаиваемых игр в "*это*"; так звал я невнятную мне данность внутреннего опыта, перепахивая ее в творчеством познаваемый "*мой*" мир: мир символиста; действительность этого мира — мой познавательный результат; гувернантка, подозревая о скрываемой мною игре, однажды потребовала, чтобы я играл вслух; и я заиграл вслух, болтая *вздор*, долженствующий убедить в простоте и наивности моих игр; она — убедилась; одновременно: чувствуя борьбу за мое "*Я*" отца и матери, заставляющих это "*Я*" по-разному выражать себя, я инстинктивно выдумывал им фиктивное "*Я*", долженствующее удовлетворить и отца и мать; выдумка шла по линии упрощения моего "*Я*"; так появилась во внешнем мире первая личность-личина, или "*Боренька Бугаев*" с удовлетворением принятый родителями, ибо отцу и матери представлялось лишь "*общее*" их воззрений; но "*общего*" было мало меж ними; и оттого: очень "*мал*" умом вышел этот "*Боренька*"; у него не было ничего своего; говорил он "*общими*" местами; родители, слыша в "*общем*" общее им, не замечали малости этого общего, а чужие — заметили; и "*Боренька*" тоже скоро заметил, что его считают чем-то вроде дурачка; он мучился, но "*общего*" преодолеть не мог; ведь индивидуальное выражение требует упражнений в выражении, требует "*своих*" слов; своих слов — не было: был "*общий*" язык — среднеарифметическое между папой, мамой, гувернанткой и "*Боренькой*"; он им показывал это среднее; оно было меньше действительного Бореньки.

Так жизнь в первом коллективе, в родной семье, развиваясь по линии "*общего*", развивалась по линии не общинной, а общественно-государственной жизни; так "*Боренька*" имел первый опыт узнания о том, что "*общество*" есть знак насилия, уз, остановки роста индивидуальной жизни; родительская семья была узлом внутренне таимых противоречий и драм; в кризисе семейной жизни он имел опыт первого кризиса; чувство кризиса присоединилось к чувству символа, индивидуума и многогранности; с тех пор оно росло и к 17 годам выросло в чувство кризиса всей обстановки культуры.

\* См. сложное учение о культурах в моей "Истории становления самосознующей души".

Свои познания индивидуум, скрытый под личностью, развивал в усилиях приобщения всего узнаваемого к игре; это значило: трансцендентный преодолевал в имманентное (слова к оформлению приходили, разумеется, после); наиболее яркая игра, давшая сильнейший импульс к жизни, — разыгранный в "Я" новый завет (опять-таки около 7 лет); пересечение двух линий в *третье* креста, переживания двух "я" в *третьем* были инстинктивно узнаны; символ "этого" конкретно логизировался: стал *логосом*; с тех пор в конкретно-символическом и в конкретно-христианском переживании непосредственно произошла спайка в индивидуальном, таимом "Я".

Сфера "*символа*" непосредственно стала сферой как-то по-новому ("*игра не игра*") переживаемой религии; впоследствии, лет через 14, эта спайка религии с игрой, осознанной как искусство, и связала студента Бугаева с термином Владимира Соловьева; термин — *теургия*; дело не в слове: слово может быть и *дрянь* и *не дрянь*; дело — в связавшемся со словом *опытом*, имманентном сознаниям: и семилетнего "*Бореньки*", всерьез играющего в Новый Завет, и студента-естественника, бьющегося в усилиях сочетать точность критического взгляда на вещи с "*религией*"; религия в термине переживалась, как пересечение, соединение, связь *этого* и *того* (внутреннего и внешнего), а образ пересечения — символ; закон, или ритм, в получении энного ряда символов, соединений, связей (символизаций, "*религионизаций*") — знак Логоса: Христос; термин "*теургия*" обозначал в эпоху религиозной стадии моего символизма — творческое заново переплавление материалов и образов религиозной истории в нечто, имманентное мне, сквозь меня прорастающее; "Теургия", как "*богоделание*"; говоря более внешне, — мифотворчество.

Мне нужен был знак-отделитель от догматизма; слово "*теургия*" — отделяло от догмата.

Лет 7—8-ми, переживая сошествие Св. Духа на двух-трех плитках паркетного пола, я, Боренька-символист, сосредотачивал свою *игру всерьез* на *теургии*, осознанной позднее как один из видов символизации, очень редких и ценных в символизме; в христианских символах я, начиная с Бореньки-символиста и кончая "*Андреем Бельм*", видел особый род символов, отличающихся чистотой и благородством; так, в камушках пляжа многие особенно ценят прозрачные камушки, предпочитая их прочим; я видел особую прозрачность в евангельских символах; в них втягивались и мои моральные, и художественные впечатления; другие символы часто раскалывали мои восприятия на эстетическую их приятность и этическую недоброкачественность, или — обратно; тут *краски* и *свет* соединялись в прозрачность блеска.

Так бы и определил мой *игровой* подход к христианству; повторяю: *играл я всерьез*.

Тут же должен оговориться для правильного понимания всех позднейших касаний моих религиозной проблемы; эта проблема весьма не процветала в нашем быту; отец мой, профессор математики, имеющий сложнейшую свою философскую систему, допускал, "*так сказать*", высшую силу и все образы "*заветов*" ставил передо мной со своими аллегорическими "*так сказать*"; его более интересовали проблемы нравственной эволюции человека в религиозных эмблемах; он был решительным отрицателем церкви, догматов, традиций; и ненавидел "*мистику*"; обрядам он не препятствовал, т. е. — принимал священника с крестом из... светских приличий (как не принять человека); и наоборот: основы естественнонаучного мировоззрения чрез отца, можно сказать, затопляли воздух нашей квартиры; из речей отца и его друзей, профес-

соров математики, физики, химии и биологии, на меня ушатами изливались лозунги дарвинизма, механического мировоззрения, геологии и палеонтологии; сколько я себя помню, столько же помню себя знающим, что гром — скопление электричества, что Скинния Завета была наэлектризована *"жрецами"*, что земля — шар, что человек произошел от обезьяны и что *не сотворен* семь тысяч лет назад, а — начала не имеет.

Стало быть: мое живейшее восприятие образов Ветхого и Нового Заветов было восприятие символизма моей души; над *традицией* у нас в доме смеялись; единственная традиционно верующая бабушка была вечно ошучена папой и мамой; мама лишь под конец жизни определилась религиозно; но ж она в религиозных образах искала символов, а не наивной действительности; в молодости она отдавалась стихии музыки и светских удовольствий; дяди и тети со стороны отца все были или ярко атеистичны, или индифферентны; тот же индифферентизм характеризовал братьев и сестер матери и моих гувернанток; меня механически обучили двум-трем молитвам и не требовали никаких религиозности; мои игры в Новый Завет я скрывал; традиция, которую мне в ранних годах старался привить отец, — традиция естествознания; пяти лет я знаю, не умея читать, всю зоологию Поля Бэра почти назубок; и в период от 11 до 14 лет пережил сильное увлечение естествознанием, мне доступным, мечтал об естественном факультете; моя *"цивилизация"* была светской; жизнь же религиозных символов протекла в глубоко скрываемом ото всех мире моих символов (*"игр всерьез"*); позднейшие попытки студента Бугаева по-своему вникнуть и по-своему осветить вопросы церковности, традиции и православия под влиянием Соловьевых я переживал как бунт и самостоятельный вырыв из *"традиций"* вашей квартиры, профессорской, издающей исконный запах *"традиционного"* для меня так называемого вольномыслия.

Никто мне не открывал глаз на дарвинизм, палеонтологию и т. д.; они были открыты всегда, вобраны воздухом общений с отцом и внимательным вслушиванием в споры взрослых профессоров, друзей отца.

Делаю эту оговорку, чтобы было ясно, откуда следует видеть мой период религиозности, *"мистики"* и т. д.; это был период сильнейшей революции против устоев позитивистического быта среды; в этом — различие в наших подходах к религиозной догме с Соловьевыми; они все же не до конца видели, до какой степени я был в период моего увлечения Соловьевым *"религиозизирующим"* символистом, а не *"символизирующим"* верующим. Моя вера с первых лет юности была бунтом дерзания, питаемая волей к новой культуре, а не смиренным склонением, питаемым богомольностью.

Вот почему мои *"подмигивающие"* мистики юношеской *"Симфонии"* определялись мной как люди высшей, многострунной культуры, окончившие два факультета; только также в моем представлении имели права дерзать на подход к *"Апокалипсису"*; это все люди-бунтари, люди в *"нику"*, если и верующие, то — *по-особенному*.

Я сам, студент-естественник, работающий в химической лаборатории и прошедший сквозь анатомический театр, — был таков: Оствальд и *"Основы химии"* Менделеева — в одной руке; *"Апокалипсис"* — в другой; если бы *"Основы химии"* и литература по дарвинизму не были бы моим чтением, я не позволил бы себе писать в таком откровенно религиозно-символическом тоне, в каком, например, написались статьи *"Священные цвета"* и *"Апокалипсис в русской поэзии"*.

Возвращаюсь к детским годам.

Затаив в себе свой, *третий* мир, назидаящий меня *игре* в символы, я все, что ни узнавал от взрослых, а также из книг, проводил через свою душу: во все это выигрывался; мои игры в период 8—9 лет: я был Гераклом, "Кожаным Чулком" Купера, Фингалом и... инженером, заведующим системой плотин в Голландии, Скобелевым, немного позднее Юлием Цезарем, деятелем в римском сенате (мой посещения классов гимназии приурочивались к посещению мною сената); все, что я узнавал, я пропускал сквозь себя, игрой вживаясь в узанное; и — подглядывая сквозь игру всерьез то, что превышало мой возраст; с 9 лет многообразия моих героических игр (я — и Скобелев, и — Суворов, и — гроза ирокезов и т. д.) выдвинули проблему их сочетания в единую игру, где бы отдельные людификации ("я в ролях") образовали бы круг вокруг моего индивидуума; пришлось мне сложить легенду о некоем "он", совмещающем в себе все, что есть; и "ему" (т. е. себе самому) я перекладывал все прочитанные мифы и события моей обыденной жизни: в проявлении "его" жизни; "он" пух на мифах, разрастался в годах; игра моя стала к 12-летнему возрасту игрой перманентной, игрой в неинтересную жизнь "воспитанника Бугаева"; игра в "играх" сложнела и разрасталась; след ее потерялся для меня лишь в университетских годах, когда "миф" моей жизни и жизнь мне открытого второго "я" как-то серьезно слились; едва погасли следы "его" за моими плечами, как впереди, перед глазами, уже стоял "писатель", скоро ставший "Андреем Белым"; "Андрей Белый" был своеобразным синтезом личных вариаций Бориса Николаевича в эпоху университета, как "он" был интереснейшим синтезом вариаций "Бореньки" и "гимназиста".

Скажу лишь, что для своих, для особых целей мной вырезываемых кукол я с сожалением сжег в... 7 классе гимназии, когда уже не на шутку врезался в чтение философий и писал стихи; "он" был прохождением "символизма" в школе первой ступени; "Андрей Белый" появился на пороге школы "второй ступени".

Четырехлетний Боренька вживался в суждение символическое "*не-что багровое*"; "Андрей Белый", вынашиваемый соловьевской квартирою, упражнялся с С. М. Соловьевым в гносисе символического суждения: "*нечто... белое...*" Оттого-то ему и выбрали псевдоним "Белый"; формы упражнений были различны: детская игра, теософский гносис цветного восприятия; суть же под формами была — *та же*; и даже тема перемены интереса в гносисе *от красного к белому* связалась с особым впечатлением от библейского текста: "Если дела ваши как *багряное*, как *снег* убелю".

Отсюда диалектика моей юношеской световой теории (от *красного* к *белому*), высказанная символически в семи этапах семицветья статьи "Священные цвета". Здесь попытка фиксировать семь моих юношеских мироощущений; одно пережито в четырехлетнем возрасте; другое в возрасте 19 лет.

Все "*это*" выветвилось наружу, в культуру литературы, — из детской игры: я пришел в символизм со своим "*символизмом*"; литературную школу я измерял и взвешивал *по-своему*.

### 3

С четырех до семнадцати лет я рос эсотериком; мой символизм — утаиваемое от других; долгое время сфера утаиваемого была сферой утаиваемого поневоле, ибо ни одно из слов моего словаря не нарекало его никак; "*игры*" мои кое в чем приоткрыл я кормилице, Афимье



Ивановне Лавровой, когда мне было 14 лет; кое-что она *понимала*; и мы играли вместе; уже с детства мне стало ясно, что *"это"*, во мне живущее, — особая культура души, предполагающая особый орган, и что имеющие этот орган — и утонченные и простые люди; утонченных я встретил позднее лишь; первая простая *душа*, со-символистка, — кормилица, человек весьма ограниченный в "светской" культуре; и даже — безграмотный.

Подрастая, я стал прибирать к *"этому"* некоторые элементы культуры, извне западавшие в мир немых жестов моих; пяти-шестилетний я знал, что *"это"* преформируется и членится во мне под влиянием музыки (Шопен, Шуман, Бетховен), чтения немецких стихов (Уланд, Гейне и Гете), сказок и разговоров с горничной Аннушкой об *"Откровении"* Иоанна (последняя передавала мне ряд старообрядческих легенд).

В стороне от этого шла моя *"цивилизация"*, т. е. забрание материала, подаваемого мне взрослыми в виде узнаваний, что земля — шар, а гром — скопление электричества; тут начинался быт профессорской квартиры с ее правилами поведения, обязательным показом таких-то чувств и прятанием других; сведения из "цивилизации" я жадно схватывал, а быт ее воспринимался неудобоваримую пищу, чем-то вроде обязательного жевания углей; и я отхрустывал ровно настолько углем, чтобы не показалось странным мое мычание; отхрустывание — Боренька, строящий словами свой социальный мост к детям и взрослым.

Я рос одиноким; детей не знал; оттого и не умел с ними обращаться; они — дразнили меня.

Несколько раз ворвались из пресного внешнего мира ярчайшие переживанья: подслушанное чтение вслух *"Призраков"* Тургенева, отрывков из *"Демона"* и *"Клары Милитч"*.

Но все же — мало свежего материала, потребного мне для культуры *"этого"* во мне, поступало из внешнего мира; пустыня вокруг меня разрасталась: домашними неприятностями, страхом перед чем-то, что стрясется в нашей семье, скукою преподавательниц, ощущением полной бездарности при попытке отличить существительное от прилагательного, неумением понять, что есть нумерация; и после — Сахарюю классов с неизменной невнятицей определений разницы *"генетивуса объективуса"* от *"генетивуса субъективуса"*, по Элленду-Зейферту.

Становилось ясно, что я, дразнимый детьми, считаемый дурачком чужими взрослыми и сжатый узами нашей квартиры с ощущением полной своей бездарности в ней — долго не проживу *эдаким способом*; случится нечто непоправимое, разорвется личина-личность, выступит из Бореньки *"это"*, и все в ужасе ахнут, потому что *"это"* покажется им либо преступностью, либо безумием; чтобы отсрочить миг, я стал пристраиваться к *"цивилизации"*; в этом пристроении сложилась и первая моя стилизация, сошедшая преудачно: я стал первым учеником; оказывается, это — легко; меня все хвалили; и я очень гордился успехами не по существу, а потому что стилизация мне удалась; я, бездарный в науке, оказался мальчиком с пониманием, чуть ли не с талантом; два года я тешился удачей; с третьего класса она надоела мне, с четвертого — перестал учиться бессмыслицам (Элленду-Зейферту, хронике исторических дат и греческим исключениям), но катил *мимикри* прилежного воспитанника перед собою, как колесо, до... седьмого класса; после же переменил стиль *"прилежного"* на *"оригинала-декадента"*; странно; большинство из учителей считалось с моими обоими стилями: уважали *"прилежного"* в неприлежном и робели, опасливо озираясь на... *"декадента"* (их так было мало еще).

Был момент, после которого версий о моей бездарности упала во мне; я увидел в себе свой индивидуум; переживания эти связались мне с чтением Упанишад; это было в 1896 году; неверие в свои силы сменилось ощущением силы "Я"; как это ни странно, — я осознал себя волевой натурой; я понял, что беру не лобовую атакою напролом, а мягкой уступчивостью и тем, что скоро мне осознал ось как многострунность; уступая перед прямолобым упрямством людей примитивно-волевых (твердые глаза, квадратный подбородок и сокращение мускула), я обтекаю и справа, и слева: обхожу с обоих флангов в моменты кажущегося безволия и мягкости; этим и обусловился в душе смутный позыв к прорыву моему во внешний мир со "*своим*" словом о мире; в 1895—1896 годах это переживалось как жест; и это сказывалось во всем: парадоксально защитил "*декадентов*", и вместо смеха — уважение; набросал для гимназического журнала в первый раз в жизни отрывок в прозе (с "*настроением*"), а товарищи удивились, сказали: "художественно". Сыграл "*Деция*" в домашнем спектакле; и — ничего; придумал из ничего античные костюмы; и опять — сошло; к чему бы, шутя, ни подходил, — выходило; выходило с фокусами, которыми потрясал бабушку, и с умением, взлезая на четыре стула, поставленных друг на друга, стоять на верхнем с горящею лампою на голове.

Профессии еще не виделось — никакой; стоял на распутье; но знал, что, куда бы ни направил волевою энергию "этого", моего, будет по воле моей; в 1895 году я стоял на пересечении многих деятельностей, как бы прицелясь в линию будущих лет; став в этом пункте, я вижу ясно, что я мог бы быть: философом, поэтом, прозаиком, натуралистом, критиком, композитором, теософом, циркачом, наездником, фокусником, актером, костюмером и режиссером; куда бы ни направилась воля моего индивидуума, то и двинулось бы по линии лет, развивая свои приемы и стили; и впоследствии, выбрав прицел и сказав твердо "*буду писателем*", я сознательно в тылу за собой оставил возможность тактических отступлений к истоку воли; имел волю сработать свое ремесло, я имел волю к резерву: при случае переменить ремесло. И впоследствии я про себя не верил в легенды о безвольной мягкости "*Бориса Николаевича*", отрицающего принципиально биологическое выражение воли: прямолобый напор; сумма моих волевых действий не в волевой прямолобости Б. Н. в проведении своей личной линии в каждом из пересекаемых коллективов, в себя расширении, себя растворении в каждом для окраски его; интенсивность этих окрасок в градации коллективов, достигаемая в обезличении волевой "*личности*" Б. Н., обратно пропорциональна этому обезличению; скажу: я был влиятельней в *сфере* своей, нежели в центре сферы иль личности; сумма этих центров (сумма книг, лозунгов и т. д.) менее суммы незаметных углов преломлений жизни коллективов, в которых я работал; иногда я влиял не из себя, а из других на целое коллектива.

Скажу: я более волевой человек, чем мыслительный или эмоциональный; но моя воля имеет *мягкое* выражение; она в сфере моего индивидуума, ставящего и убирающего вовремя свои модификации-личности; представления наши о "*волевой натуре*" — представления героические; "*герой*" — волевая натура греческого периода культуры; такой "*герой*" гибнет как личность, перевоплощаясь в наш период жизни; волевые натуры нашего времени проходят как не имеющие личной воли; этой азбучной истины нашего времени не понимают пародирующие из себя "*волютаристов*" безвольные индивидуальности; такую индивидуальностью я, например, считаю Валерия Брюсова, одно время постави-

вшего себе девизом меня *"сражать"*; этот спорт его длился в эпоху 1904—1906 годов; и, однако, есть указания его о странном факте, что он считал себя... побежденным мною (*"мифизация"* им наших отношений в эпоху 1904—1905 годов в его романе *"Огненный ангел"*, где он меня *"удостоил"* роли графа Генриха).

Ритм доверия к миру *"моего"*, ставшего миром моей воли, мне открылся внутренне чтением *"Упанишад"*. *"Само"* осознало себя; мои игры всерьез, как упражнения в самосознании, как йога жизни, впервые предстали передо мной тогда именно; и стал приоткрываться первый идеологический отрезок в тенденции забронировать выход во внешний мир: от Упанишад к Шопенгауэру — отрезок пути от 1896 года к весне 1897.

Этому внутреннему переходу игры в воление соответствует и внешний выход мой в мир квартиры М. С. Соловьева, где я укрепляю впервые свою позицию как имеющего *свое* слово; здесь мне открыт выбор слов нового словаря: словаря искусств; и между прочим: мне попадается слово символ, как знак соединения *"этого"* и *"того"* в третье их, вскрытое в *"само"* моего самосознающего *"Я"*; слова *"символ"* и *"символизм"* я механически заимствую от французских символистов, не имея никакого представления о их лозунгах; мне до них и нет дела; у меня — лозунг свой: мое *"само"*, вчера бывшее *"этим"*, а сегодня ставшее *"Я"* в овечьности. Упанишадами; произведения символистов (стихи Вердена, *"Serre chaude"*. Метерлинка) отбрасывают меня к странным играм моим в *"нечто багровое"*; брюсовские же *"декадентские"* стихи меня волнуют, как воспоминания о доисторических бредах моих первых сознательных миггов, давно преодоленных в символизациях; если бы я провалился в *бред*, не имея стихии *"символа"*, или *третьего* (*"бред"* — хаотическое *"первое"* без *"второго"*), я попал бы в миры *"мертвецов, освещенных газом"*, и *"бледных ног"* (я кошмары подобного рода видывал в детстве); стихотворения первых *"символистов"* в эпоху 1897—1899 годов воспринимаются мною, как *"кошмаризм"*, а не *"символизм"*; это — мир *"декадентства"*, *"болезнь чувствительных нервов"*; здесь нет умения владеть хаосом.

Декадентством я заинтересован: не непонимаю его; но мое *мотто* того времени: оно должно быть преодолено; я волю большего. В эту эпоху я увлекаюсь стихами Жуковского и Бальмонта; но Фет заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром философии Шопенгауэра; он — шопенгауэровец; в нем для меня — гармоническое пересечение мирозерцания с мироощущением: в нечто третье.

Конечно, он для меня — *"символист"*.

С 1897 года начинается эпоха моего бурного литературного самоопределения; оно началось с самоопределения философского полгода ранее; в мою лабораторию сознания одновременно вливаются: Белинский, Рескин, символисты и *"Фрительф"* Тэгнера, Ибсен и Достоевский, Беклин и Врубель, Григ и Вагнер; вообразите взворот — стилей, догадок, познавательных проблем; я — взмыт; из уст моих бурно хлынул на меня самого удививший поток слов, направленный одновременно и к назиданию товарищей по классу и барышень Зубковых, которым проповедую буддизм; я осмеливаюсь не соглашаться: с отцом и с профессором Корсаковым; *"Боренька"* лопнул сразу; и *"Валаамова ослица"* — заговорила; все — озадачены: не понимают, подсмеиваются, но... как-то осторожно; и все — меняют стиль: смех смехом, невнятица невнятицей, но — жест, поза, убедительно воздетый палец и решительное отрицание всех критериев вкусов и того, что считается полезным и нужным, — впе-

чатление производит; мои товарищи — приверженцы того или этого; я не только приверженец "*декадентов*"; я — выступающий с проповедью от самого себя.

С этим надо считаться.

И в восьмом классе гимназии с "*декадентом*" Бугаевым, уже читающим Канта и имеющим что ответить и Смайльсу, и Конту, и Спенсеру, считаются: воспитанники, учитель русского языка и сам испуганный латинист (некогда — гроза класса).

Я пишу стихи, ультра-декадентские отрывки в прозе, громадный критический дневник (все — потеряно); но я — не декадент; и даже — не шопенгауэровец.

Я — сознательный символист; и по-своему переделываю систему Шопенгауэра, пусть во внешне беспомощных усилиях, но внутренне — в усилиях оригинальных; эстетика Шопенгауэра мною используется своеобразно, заостряясь в символизме; мое древнее "*это*" — воля, "*то*" — представление; соединение "*этого*" и "*того*" — не закон мотивации, как у Шопенгауэра, а символизационный ритм себя строящего символиста-индивидуалиста; выход к Гартману мной отвержен; разбор индивидуализма Ницше — на очереди; но уже ясно, что символизация Ницше при помощи сверхчеловека неприемлема *априори* установкой моей позиции: сверхчеловек — трансцензус, подкид и выкид человека в то, чего в нем нет; у меня есть высшее, *третье*, внечеловеческое в человеческом; сверхчеловек просто — индивидуальное "*я*", как сверхличность; мы все — сверхличны; мой имманентизм, соединяясь с думами о "*Само*", "*Духе*" и о "*Христе*", пережитом некогда в символизациях арбатской квартиры, под влиянием разговоров в квартире Соловьевых и встреч с философом Соловьевым, главное, под опытом моих индивидуальных переживаний, соединяющих образы современности с "*Апокалипсисом*" и Достоевским (конец мира, пережитый в Троице-Арбатской церкви и потом на Воронухиной горе в Москве), — все это опытно предесцинирует будущее преодоление 1) шопенгауэрианства, 2) ницшеанства по линии слов: *символ* — *теургия*; слово последнее встретится скоро; в нем я найду термин для выражения максимального напряжения символизма в личности, расширяемой в индивидуум (т. е. в "*сверх-индивидуум*", по Ницше); "*символизм*" в общем виде — ток волевого напряжения в процессе разряжения его во внешний мир; искомое слово "*теургия*" (не найденное еще) — символический ток высоко-го напряжения, преобразующий действительность, коллективы и "*я*"; преобразование это выглядит концом мира для противящихся процессу преобразования; конец мира — революционный шаг: удар тока по спящим; второе пришествие — в "*я*", через "*я*" — то же: в аспекте положительного раскрытия процесса преобразования.

*Теургия* — ритмы преобразования: в нас.

Вот — мой ход на религию, недостаточно учтенный Соловьевыми и "*соловьевцами*"; мой ход на всю линию религии — только через символизм, катастрофизм, взрыв: "*Се творю все новое*" — мое мотто; и этим: творю новое "*я*" и новое "*мы*"; мы — коллектив, община; она религиозна в смысле насыщенности ее волевой энергией символизма, который теперь для меня — йога действий над "*я*" и йога ритмов всех "*я*", перерождающих сперва свой индивидуальный центр, теургическую коммуну, или точку приложения рычага, плавящего мир.

Тут уже без достаточно собранных логических оформлений собраны мной все темы моей жизни; тема *третьего* мира, царства символа, индивидуума, тема многострунности: многие личности, строящие "*Я*",

образуя индивидуума, по тому же закону видоизменяют сложение индивидуумов в индивидуум высшего порядка, или церковь-коммуна (тут — влияние идей отца о монадах многих порядков в динамике переложения и сочетания их); если бы в те годы я, наткнулся на формулу определения церкви Макарием Египетским, я бы сказал: "Вот, что я пытаюсь выразить в развитии своего символизма в социальную фазу". Привожу цитату Макария: "Церковь можно разуметь в двух видах: или как собрание верующих, или как душевный состав. Посему, когда церковь берется духовно — в значении человека, тогда она целый состав его, а пять словес его означают пять... добродетелей" (Беседа 37-я "О... духовном законе"). Трудную духовную истину о церкви, как пяти принципах ритма в человеке, я не умел сформулировать, но — ощущал. И если бы я знал в те годы учение о числовых индивидуумах как комплексах, то я выразил бы свою социальную символику в аритмологии (этой социологии математики).

Я волил в преданиях о религиозной общине преодоление духовно-революционное всех традиций представления, понятий общества, личности, искусства, банального индивидуализма в творимую новую культуру; это новотворимое энергией символизма — религия, не имеющая ничего общего с миром традиционных религий; такая религия — с усилием вынашиваемый мной, юношей еще, мой символизм, требующий выволакивания его из лично-индивидуальной фазы (символизм под личиной личного) в индивидуально-социальную фазу.

Эта фаза, поволненная мною, и есть мой влом с *"моим"* в общество; я, как символист, если не являюсь социальным реформатором (вернее — преобразователем), — не символист, а субъективист; дело не в личных усилиях Бориса Бугаева, а в целеустановке индивидуума моего: мое *"или — все, или — ничего"*.

Вот что отделяло меня до присоединения к группе московских символистов от этой группы: воля к преодолению *"маски"* символизма, налета "личности" на нем ("субъективной имажинации в терминах Штейнера); и вот что отделяло меня не только от всех примесей традиций и историзма в официальной церковности, но и в философии Владимира Соловьева, когда я еще, так сказать, смутно чалил на нее; термин *"теургия"* был взят мной потом в новом смысле; лишь в ряде годин сумел я отделить мое взятие *"термина"* от взятия "термина" Владимиром Соловьевым; необычайная трудность в формулировке столь сложной позиции юношей, необычайность размаха в дерзости перевернуть вселенную *"вверх дном"*, опять-таки не осознанная до конца, — предесцинировали ряд недоразумений моих во встречи с людьми и ряд недоразумений с собою в процессе логического раскрытия своей концепции; отсюда — беспомощность ряда статей, уже поздней мной написанных; беспомощность — в нахождении выражений, а не в сознании своей позиции в себе.

В восьмом классе эти лозунги моего символизма еще в полной мере мимикрировали под формуою чужих систем и идей, которые я прилаживал к своему миру. В 1899 году Соловьев указывал мне на направление моего плаванья по морю жизни; направление — *Апокалипсис*: *"Ся творю все новое"*; компас, руль — зависели от меня; руль — умение владеть проблемой творчества; стрелка компаса — символизм, притягиваемый магнитом нового мира (говоря максимально), или новой культуры (говоря минимально); между максимумом и минимумом — мои хитрейшие модуляции в приоткрывании и прикрывании лозунгов; а суденышко, отстраиваемое наспех из ветхого материала, или *"Арго"*,

плывущий за солнцем жизни, — моя заботливая починка философии Шопенгауэра на свой лад, где *"пессимизм"* — мимикри, иль защитный цвет официально модной философии того времени; собственно, я проповедовал апокалипсизм под флагом катастрофизма, умеренного минимально в трагизм, в антиномизм *"этого"* и *"того"*, преодолеваемый в символе.

Таков я в смутном волении себя, гимназиста; пока еще я символист *"по-своему"*; единственный спутник мой в символизме, не до конца проникающий символизм, маленький С. М. Соловьев.

Ни с кем из тогдашних символистов я не знаком; да и, признаться, не интересуюсь ими; они — *"декаденты"*. Но предесценирована моя ближайшая встреча с Владимиром Соловьевым, Ницше, Мережковским и Блоком.

Я попадаю на линию Шопенгауэр — Вагнер — Ницше (по линии преодоления пессимизма в индивидуалистический символизм); я, поклонник Ибсена, Достоевского, — *трагик*; меня несет к темам "Происхождение трагедии" Ницше; но мой *"апокалипсизм"* заставляет брать меня проблему трагедии личности шире; она — симптом общего кризиса; но этот же кризис есть симптом наступления новой эры, следующей за ним: *"Се творю все новое"*. Я брежу старцем Зосимой и князем Мышкиным; в классической линии трагического мирозерцания тесно мне, потому что моя проблема — проблема антиномии между субъективистическим символизмом и религиозным.

Таким я появляюсь в университете.

Дарвин, механицизм, проблема естествознания взвивает новые водвороты идей: куда повернуть руль моего "Арго". Как примирить, с одной стороны, борющихся в моей душе Соловьева и Ницше; с другой — самую проблему их борьбы в душе с проблемой естествознания; Соловьевы тут не помогут; естествознание чуждо им; опять-таки: ориентирует сперва линия, связанная с Шопенгауэром, моей центральной станцией идеологических экскурсов; эта линия, с одной стороны, волюнтаризм (Вундт), допускающий переложения себя в энергетика (Оствальд); с другой — *"Философия бессознательного"* Гартмана, отдающая много места проблемам естествознания; если преодоление Шопенгауэра *вперед* — символизм, то базирование его *назад* — естествознание.

Новый круг мыслителей вычерчен мне в университете: Гартман, Гефдинг, Вундт, Оствальд, потом Ланге; они суть средства, формулирующие мне мою философию естествознания, питаемую уже из специального чтения: Гертвиг, Катрфаж, Делаж, Дарвин, Геккель и т. д. Позднее сюда присоединяется частично Спенсер.

Здесь уже, с первых курсов, определяется и проблема моего мировоззрения: проблема переведения стрелок с одних рельс мысли на другие; рельсы — методология; этих рельсовых путей много: 1) частные науки (физико-химические и биологические) с их *частными* философиями; 2) параллелизм и волюнтаризм, 3) трагизм, индивидуализм с обоснованием в них символизма, 4) соборный символизм (проблема коммунизма и теургизма). Меня занимает проблема со-существования многих путей и установление порядка в преодолении одних путей другими; многоступенчатость познания стоит предо мною; но рельеф — туманен; стрелки, пересекающие параллельные рельсы, всюду в пересечении рисуют мне ножницы: *то* и *это*; задание — всюду; преодолеть *то, это* — в треть; треть же — *символ*.

Так символизм в эти годы — проблема ножниц и антиномий, поднимаемая на плечи, как крест, — с обещанием: преодолев смерть на

кресте, воскреснуть в новой, воистину новой, человечеству нужной мировоззрительной сфере: в сфере символизма, как критического мировоззрения.

Теория знания символизма еще далеко не ясна, но я переживаю весь пафос искания ее и утверждения ее: она — должна быть; она — золотое руно, к которому чалит мой *"Арго"*. Я не обещаю легко выпрыгнуть из *"ножниц"*, которые — следствия веления моего себе: пересечь линию мысли в разрешении многопутейности в иерархию познаний и творчеств; самое мировоззрение в этом решении — поволенный *"путь"*: выйти из трагизма границ познания; таким я вижу себя; но не таким видят другие меня; они видят меня не в усилении преодолеть критически *"ножницы"*, а видят — раздираемого *"ножницами"*; *"ножницы"* — торчат из меня: я их не утаиваю; многие объясняют их — противоречивостью моих устремлений и их неувязкою; Соловьевы не понимают, для чего я отстаиваю естествознание; отец, ценящий меня именно в моей линии естественнонаучных мыслей, не понимает, при чем эстетика, Шопенгауэр и Соловьев; мой товарищ по курсу художник Владимиров не понимает моей философии (берет по линии естествознание плюс эстетика); более донимает меня в проблеме ножниц А. С. Петровский, товарищ по курсу; и с 1899 года между нами начинается ряд живых мировоззрительных бесед.

Понятно, почему я вперен в анализ антиномий ("Я" и "мы", наука и религия, Ницше и Соловьев, богоборчество и *"Апокалипсис"*, гибель культуры, преображение жизни, представление и воля, Аполлон и Дионис, пространство и время, зодчество и музыка, сознательное и бессознательное, витализм и механицизм, Декарт и Ньютон, теория эфира и теория тяготения в т. д.); в поисках пересечения я старательно, так сказать, сплетаю из противоречий венки; и он уже достаточно колюч для меня венок из терний; выход не в отрезе от сложности — в гармонизации; но прежде всего — установка порядка вопросов и граней вопросов; синтез не в этом соположении, а в конкретном пересечении, не в *"сюттитэми"* (сопологаю), в *"сьюмбалло"* (соединяю).

Мне уже ясно, что путь нового соединения — в сложении новой культуры; то — путь поколений, а не — написание системы; но этого не понимает никто из тех, с кем дружу; они видят во мне упорядоченность в одной из многих, мной намеченных: линий; для Владимирова благополучна моя эстетика; для Соловьевых — религия, для отца — естествознание (он очень гордится, что профессор Умов оценил мой реферат *"О задачах и методах физики"*); но ни для кого не благополучен во мне тот факт, что я не довольствуюсь эстетикой, религией и наукой, а выдвигаю по-своему проблему цельности под формой символизма; в моих *"ножницах"* не видят точки пересечения двух линий в третью, что вполне сказывается в перемещении центра споров с Петровским от 1900 года к 1901 году; в 1900 году Петровский нападает на проблему символизма во мне, так сказать, справа: от скепсиса Ланге, естествознания; ему видятся *"мистика"* и туман в религиозных акцентах моей проблемы; а в 1901 году, в несколько недель перелетев через *"ножницы"*, он уже оспаривает меня слева: от ортодоксальной религии; оспаривает опять-таки мною водимый символизм на базе критической философий.

Мне приходится отбиваться и справа, и слева, и спереди, и с тыла; это — бой за действительную точку пересечения моего мировоззрительного многогранника; так я подыскиваю бронировку этого центра, символа в лозунгах: 1) многорядности знаний, 2) ограничения познанием знаний, 3) переложения и сочетания формул знаний друг в друга для

построения эмблем смысловых фигур, 4) преодоления отвлеченного познания в мудрость символизма на этом пути.

Теза, внесение которой в символизм принадлежит мне (в 1904 году), вынашивалась в 1900—1902 годах, в бытность мою студентом: *символизм плюс критицизм*; и никогда: *символизм минус критицизм*.

Сам символизм в своих поступательных движениях акритичен, потому что он мудр, а мудрость — гиперкритична; но в действиях отражения нападения с тылу символизм превращает самую философию критицизма в меч, падающий на догматику, откуда бы она ни шла (от материализма или от теологизма).

Мне теперь ясно — до ужаса: я был — один, как перст, а один — в поле не воин; но я тешил себя социальной фикцией, будто бы есть какие-то друзья, которые меня тут именно понимают; меня *тут именно* не хотели понять: ни Владимиров, ни С. М. Соловьев, не говоря о товарищах по курсу; и не понимали впоследствии: Мережковские, Блок, Брюсов и Вячеслав Иванов; отсюда — постоянная тема себя *снижения* именно в этом пункте и добровольный ракурс пространственных, так сказать, представлений о символизме в плоскостных проекциях — таких-то для Брюсова, таких-то для Блока; иногда этот вынужденный подгиб себя под других, от нежелания другими выпрямить во весь рост проблему, переживался как нечто изнуряющее до крайности; и почти — унижительное; отсюда этот тон мой ко многим с *"извините пожалуйста"* и с *"так сказать, согласен"*; он — от нежелания обидеть человека указанием на его мировоззрительную плоскость и от надежды постепенно, бережно и нежно раскрыть ему глаза; так начинал я возиться с людьми; впоследствии всего сказывалось, что *"извините пожалуйста"* принималось за чистую монету; какой-нибудь очередной *"друг"*, попутчик в отрезке пути, на этом тоне моего бережного отношения к его ограниченности строил тон ничем не оправдываемого превосходства и *"потрепательства по плечу"*, что позднее приводило к естественной консеквенции; нога того или иного *"друга"*, снисходительно легшая на мое плечо, скидывалась резким движением; и наши отношения вступали в очередную фазу моего якобы *"бунта"*. Но бунта — не было. Бунт основной — в том, что самоуверенное трактование меня в искажающей меня *"личной"* проекции подходило к границе допустимости, после которой *"минимализм"* мой на почве бережности к другому сменялся толчком *"максимализма"*, скидывающим каблук *"друга"* с моего плеча. Бывали отношения, которые кончались внезапно по закону пословицы: *"Посади свинью за стол, она и ноги на стол"*.

#### 4

В 1900 году я менее всего заинтересован "маленькими" для меня делами *"скорпионовской"* группы поэтов; Брюсов мне нравится после третьей книги стихов, но я его считаю более всего декадентом, а не символистом. Мне не до *"Скорпиона"*, когда Дарвин, Ницше, Соловьев, Ибсен и подымающиеся Мережковский и Розанов стоят на моем пути; надо во всем разобраться, поставить штампы *"наше"*, *"не наше"*, *"по дороге"*, *"не по дороге"*; умирает Владимир Соловьев; падает задание конкретно разобрать рельеф его мысли в рельефе моей проблемы; я чувствую и на своих плечах, так сказать, наследство философа, тем более что *"Боря Бугаев"* после личного объяснения с покойным *"уважаем"* в соловьевской квартире, где он кипит и волнуется за какое-то *"мы"* строимой им в воображении группы; новая задача: переплавить филосо-



фию Соловьева в путь жизни "я", в конкретный символизм и этим преодолеть отвлеченные начала его мысли в действительно положительные начала творческой культуры по линии *зари*, указанной им в стихах (проблема Софии, как индивидуума и как группы-коммуны церкви, разумеется, не в догматическом аспекте), и по линии уяснения реального кризиса, им указанного в "*Трех разговорах*"; и во-вторых: вскрыть антиномию Соловьев — Ницше в точке преодоления; линии преодоления: конкретизация идей Соловьева или — в раскрытии их в "я"; обратно: раскрытие "я" у Ницше в "мы" соборного символизма; все это — подчеркиваю я Соловьевым; я подчеркиваю: Мережковский в принципе многое видит в проблеме; тут я делаюсь "подозрителен": Соловьева трогать нельзя; и чужда задача: забронировать проблему моего символизма естественнонаучною базой; это — забота моя о "*бронированном кулаке*", необходимом для завтрашнего выступления против наивного позитивизма: бронированными физикой Вундтом и Гефдингом бить по Спенсеру; здесь пробив брешь, ввести в брешь лозунги критического символизма, чтобы тяжелой артиллерией, избивая догматы, открыть дорогу гиперкритическим, творческим действиям новой культуры: "*те-урши*"; веяния этой культуры с 1901 года становятся и лично мной переживаемым опытом, преисполняющим надеждой.

Об этой надежде не раз писал, называя ее "*эпохой зари*" (1901 — 1902 годы).

Я смутно переживаю духовный мир в имагинациях, подаваемых мне самой действительностью (а не в субъекциях художественной грезы); в этом — оригинальность моих художественных попыток того времени; декаденты — переживают грезу, часто деформируемую в бред; мы, символисты, имеем корень имагинаций — в символах времени, которые учимся так или иначе читать; в своеобразности чтения, в знании источника "*письмян*" (не сон он) — своего рода эсотеризм некоторых моих сверстников, будущих попутчиков в символизме; начинается эпоха встреч с людьми и удивительное узнание, что наше субъективнейшее — обобществимо, и в этом обобществлении начало *жаргона*, состоящего в мимике по-новому произносимых слов ("*символы не говорят, а кивают*"); словами кивали друг другу мы, минуя наши личины-личности: от индивидуума — к индивидууму; индивидуальное — необложимо в *общее* значение слова; общие слова — пусты; и тем не менее — иные субъекции обобществимы в необщем смысле: обобществимы в коммуне.

Так начинается тот именно Символизм в специфически интимно-социальном смысле, о котором, как об эсотеризме, сказал Александр Блок в 1910 году; этого оттенка узнаний не было у французских "*школьных*" символистов; и его не было у "*скортионов*". В 1901 году вырабатывается особый ритм восприятий, который дает возможность в ближайших годинах по-особому встретиться, "*коммунально*" встретиться: мне и С. М. Соловьеву с Блоком и с матерью Блока; Петровскому с Соловьевыми; мне с Метнером и т. д.

Люди — различны; мировоззрения — различны; исходные пути — разные; а горизонт предстоящего общ<его> в индивидуальнейшем; индивидуальнейшее и есть итог преодоления расщепления меж субъективным и объективным в *третье*; третье, индивидуально строимое из симптомов времени, — как будто общее достояние всех нас, выращивающих новую культуру.

Это — не мировоззрительный лозунг, а опытное узнание того времени; так, как Блок пишет о весне 1901 года, могли бы написать разные люди до этой весны и по-разному переживавшие время; и после — разошедшиеся.

Подчеркивая *опытный момент* узнавания о том, что индивидуальный опыт обобществим в символизме; и в основе его лежала уверенность, что символизм — путь; не объясняю здесь этого факта, но ставлю на вид: *факт был*.

В коммунизме переживаний — заря, весна, соборность символизма; в позднейшем распаде его — его крах.

Этим обусловлена и ретушь к моим лозунгам того времени (ретушь на *"опыт"*); критический меч и естественнонаучное забрало символизма — тактика: походка его вступления во внешний мир: Кант, Шопенгауэр, Оствальд, "Монадология" отца; но сквозь забрало должны подавать знак *глаза* намеком на внутренний мир опыта, таящийся под броней; умело построенный *"намеки"* — подмигивания; отсюда в *"Симфонии"* моей названы люди опыта "подмигивающими". Почему *"подмиг"*? Да потому, что — "символы не говорят: они молча кивают" (Ницше); но *"кивают"* о действительно переживаемом, о творимом, о третьем, о царстве *"символа"*. Идеология шлема и бронировки — опять-таки понятна не всем: многие и тут, в опыте, ломятся в будто бы открытую дверь прямого провода, стараясь зигзаг угла треугольника превратить в линию от *первого* (внутреннего) ко *второму* (внешнему); и, так ломясь, ставят вопросы: "Конец мира или — бесконечность прогресса". На мое *"что есть мир"* и *"что есть конец"*, возвращающее к проблеме символизма и к базе критицизма, как бы отвечает мне: "Это — у вас неувязка от трусости высказать исповедание и т.д.". Таков в близком будущем мой разговор с Блоком (в 1903 году, в письмах) и таковы мои отношения с Мережковскими (1902 — 1906 года).

Люди ломались в будто бы открытую дверь, которая была лишь плоскостью зеркала; перспективы будто бы за дверью открытых пространств, — отражения иной сферы, поворот к которой я волил; и моя философия нудилась в вычислении угла поворота; а это вычисление виделось — распылением; но судьба рвущихся слишком поспешно *"связать руки"* и *"отлететь в лазурь"* (стихи Блока к "Аргонавтам") — удар лбом в зеркало; для Блока шишка этого удара — *"Балаганчик"* (с самоосмеянием); для Мережковских — уход в плоскость газетного листа; для Петровского — удар о православие в эпоху 1905 года.

Я знал, что будут *удары* вне усвоения проблемы символизма, мной нудимой; я еще в *"Симфонии"* поставил на очередь удар во фразе-лозунге: "Ждали Утешителя, а надвигался Мститель". *"Мститель"* — разбитие лба о плоскость стены: *символизм минус критицизм*.

И когда впоследствии начался хаос расхищения лбов и ругань по адресу вчера волимого, я тактически отступил по всему фронту символизма: от *теургии, коммуны, эсотерии, опыта* на новые позиции: Канта и символизма как "школы".

*И тут — не понимали меня (эпоха 1906 — 1909 годов).*

Идеология идеологией, а опыт опытом — вот мое *"мotto"*; критицизм — грань между ними; *опыт* — незакрепим в догму; он выражаем в текучей символизации умело поставленных намеков; идеология — временная гипотеза; надстройка над бытием опыта; а учение о приемах надстраивания и приемах символизировать — критический гнозис символизма как *теории*.

Так намечаются для меня три сферы символизма: сфера Символа, символизма как теории и символизации как приема. Сфера Символа — подоплека самой эсотерики символизма: учения о центре соединения всех соединений; и этот центр для меня Христос; эсотерика символизма в раскрытии по-новому Христа и Софии в человеке (вот о чем мимика

моих *"Симфоний"*); сфера теории — сфера конкретного мировоззрения, овладевшего принципом построения смысловых эмблем познания и знаний; сфера символизации — сфера овладения стилями творчеств в искусстве; в подчинении этой сферы символизма и в подчинении символизма самой сфере Символа изживался во мне принцип тройственности, лежащий в основе пути символизма.

Этот ритм тройственности мне слышим в эпоху написания *"Симфоний"* (в 1901 году); но никто не понимает меня — хотя бы в совмещении нот величайшего оптимизма (*"много радостей осталось для людей"*) с острой сатиричностью против прямолобого переня в *"мистику"* и в *"секту"*. Через год, когда вышла *"Симфония"*, даже приемлющие ее художественно не видят меня; Рачинский и Эллис восхищаются *"Симфонией"*; Рачинский — тем, что она якобы говорит *"да"* традиции; Эллис — тем, что *"Симфония"* написана вдребезги разбитой душой; оба не видят проблемы *критицизма*, зигзага и поворотного угла, переносящего *"чаяния"* в иную сферу; я же в предисловии подчеркиваю *три смысла "Симфонии"*. Идеино-символический ее лозунг: *"новое"*; сатирический лозунг: "не лупите к новой культуре по прямому проводу догматов и мистики: расшибете лбы; реалистический лозунг: материал для *"Симфонии"* — имеется; это быт ощущений нового слоя людей; этот быт отрицался; его — не видели; я же имел глаза и зарисовывал факты: повальная мода на религиозно-философские вопросы началась только через 3 — 4 года по написании *"Симфонии"*; я видел эту *"моду"* уже в 1900 — 1901 годах.

С 1901 года до 1905 года меня озабочивает конкретнейшая проблема: раз факт переключки в опыте символистов установлен, этим установлена возможность укрепления и роста этого опыта в ассоциации, внутренней коммуне, долженствующей вынашивать самый быт жизни, основанный на связи в Символе; многообразии символизаций — так сказать, обстановка быта коммуны символистов; проблема коллективизма из умопостигаемой становится реально осуществимой; она — трудна, нова, но не безнадежна; и Блок — откликается: *"Вместе свяжем руки"*. *"Вместе связать"* — связать в Символе: крутом символизации, опыта, т. е. связаться религиозно.

Об этом я говорю главным образом в символизациях: образами и афоризмами; но афоризмы и образы строятся мною неспроста: они — намеки на сферу Символа, внутренне приоткрытой действительности; этим они отличны от откровенной фантастики символистов-субъективистов (для меня все еще — декадентов) и от догматики схем Мережковского, в котором я вижу борьбу догматизма с символизмом. В *"Симфонии"* я имею замысел: отразить *"ничто"* в искусстве; и задание удалось. Но я волю большего: чтобы *"ничто"* отразилось и в быте жизни; коммуна должна защитить ростки жизни от мороза старой культуры. И тут начинается тема, отчаянная для меня: непонимание меня людьми.

Непонимание, страдание, крах — все это сопровождает меня на пространстве 25 лет.

Того, чего я волил в 1901 — 1904 годах, не понимали: С. М. Соловьев (от перерождения в нем языка символов в схемы догм), Рачинский (от *"традиций"*), Брюсов (от хаотизма и логической нечеткости), Эллис (от понимания символизма как параллелизма: теория соответствий), Петровский (от полемически заостренной проблемы церкви и монашества), Блок (от мистицизма и философской неграмотности), Вячеслав Иванов (от синкретизма) и т. д. Более близок в музыкальной интерпретации моей темы Э. К. Метнер в 1902 году (а уже в 1907 году уши его зарастают *"культурною"*, понимаемой ветхо).

В этот период я волю: жить мне с людьми и строить с ними коммуны исканий, лабораторию опытов новой жизни... в Символе, или *"третьем"*, возникающем среди нас как ведущий импульс; тут-то и начинается миф об *"Арго"*, подбирающем аргонавтов к далекому плаванью; в *"Арго"* я мыслил сидящим *"Орфея"* — знак Христа: под маской культуры (для первых христиан — знак *Рыбы*).

И у меня впечатление, что в сезоне 1903 — 1904 годов милые друзья-аргонавты ту *Рыбу*... *"съели"*: так, как я описал в стихотворении лета 1903 года:

Поданный друзьям солнечный шар был... съеден.  
Растерзанные, солнечные части  
Сосут дрожаще жадными губами...  
Подите прочь!.. и т. д.

Летом 1903 года пишу: *"Наш Арго... готовясь лететь, золотыми крылами забил"*. А зимой (1903 — 1904 года) пишу рассказ об аргонавтах, где полет их есть уже полет в пустоту смерти (рассказ — *"Иронический"*); между летом 1903-го и весной 1904-го — рост долго таимого узнавания, что аргонавтическое *"свяжем руки"* есть лишь — кричанье *"за круглым столом"*, ведущее к безобразию распыления проблем конкретного символизма в его соборной фазе (коммуне) от незнания социального ритма и непонимания моих усилий этот ритм поддержать: моя триада (сферы — Символа — Символизма — Символизации) разорвана: *"треугольник"* распался в дурные бесконечности линий (чувственности — у одних, догматики — у других, пустого синкретизма — у третьих).

Я переживаю: надлом — непомерный, усталость — смертельную; и у меня вырывается вскрик: стихотворение *"Безумец"* (последнее цикла *"Золото в лазури"*).

Неужели меня  
Никогда не узнают?

Не меня, личности, Бориса Николаевича, — а моего *"я"*, индивидуального, в его усилиях выявить *"не я, а Христос во мне, в нас"*. Но и это стихотворение понято лишь в линии *"истеризма"* и чудовищно сектантского хлыстовства (я знаю, что некоторые декадентские дамы так именно его поняли!).

Вскоре в Москву приезжает Блок; и я прямо, так сказать, рухнул ему в руки, с моим горем о... непонятости. Следующее стихотворение, открывающее *"Пепел"*, написано вскоре после отъезда Блока; в нем рифмуется: *"камер "* и *"замер"*; *"я"* в моих усилиях и чаяниях замер среди камер сумасшедшего дома.

Коммуна, водимая с 1901 года, переродилась во мне в сумасшедший дом; я убегаю из Москвы в Нижний Новгород; позднее строчки *"Пепла"* отразили это бегство: *"Я бросил грохочущий город"*; этот город недавно еще виделся городом Солнца: утопией о *коммуне*.

В Нижнем я оправляюсь несколько от ряда ударов, нанесенных моим утопиям о мистерии, многострунности в органически развертываемой новой общественности, к которой должен причалить *"Арго"* символизма.

Возвращаюсь из Нижнего, опустив забрало: лозунг *"теургия"* спрятан в карман; из кармана вынут лозунг: *"Кант"*.

В Москве же явившийся впервые Вячеслав Иванов плавает в стихии кружков, все примиряет, все объясняет в тысячегранном, но пустом

приятности своего синкретизма; ему — верят: это вот — символист настоящий; я — устарел, сморщился в переплете из... Канта.

Через два года я написал, вспоминая весну 1904 года: "Многим из нас принадлежит незавидная участь превратить грезы о мистории в козловак".

Я чуть не сошел с ума от узнания, что *опыт*, соединивший нас в попытке конкретизировать его, разбит; а меня упрекали в неверности; иные аргонавты хотели слащаво длить аргонавтизм; его не было для меня в *опытном* узнании, что нет общей опытной базы в Московском коллективе; я имел опыт другого рода: выстраданное знание о том, как перерождается социальный ритм в общественном коллективе, если его преждевременно опустить из духовной сферы в сферу душевности, где он — вихрь хаоса и астральная духота.

## 5

После разгрома чайной еду в деревню: еще раз перепроверить свои теоретические позиции, а с осени 1904 года поступаю на филологический факультет, имея намерение специализироваться в философии; осенью же работаю над предметами методологии; в университете прилежно изучаю Канта и Рилея; и от них рикошетом ударяюсь в Риккерта; сам же пользуюсь указаниями когенианца Б. А. Фохта; выясняется мне необходимость отставивать от символизма линию: Шопенгауэр — Вундт; философия культуры на гносеологической базе Фрейбургской школы и коррективы к философии этой — мой новый подход к теории символизма.

Но основная мировоззрительная тенденция — та же: вскрыть полифоничность, многосоставность и найти ритм диалектики течения метода в методе; в контрапункте течений увидеть тему в вариациях; тема без вариаций — абстрактный монизм; вариации без темы, их пересекающей, — параллельные линии методов; в наивной статье о "Научном догматизме" эта тема дана в простом общем виде: *"Выработке порядка соотношений, различно преломляющих грани познания, должен быть посвящен труд философа"*; далее: "Может существовать бесконечное количество мировоззрений" (1904 года); это — девиз лекций Штейнера 1914 года, выдвинутый за десять лет до того, как он был дан в Берлине; в 1909 году *"Эмблематика смысла"* в согласии со всем мной написанным пытается дать схему контрапункта в переложении и сочетании мировоззрений; принцип контрапункта — критицизм, соединенный с гносисом символизма; в опять-таки слабой статье 1904 года *"Критицизм и символизм"* этот лозунг дан *"Критицизм устанавливает перспективу в ступенях сознания"* (1904 года); эти ступени: формализм (от рассудка), метаф. догматизм, критицизм, символизм; в статье того же года *"О границах психологии"* выдвинута проблема дуализма, преодолеваемая в *третье*. Я в одном разрезе плюро-монист, в другом ду-монист, потому что теория символизма есть плюро-дуо-монизм, где сфера плюрализма — сфера научных эмблем и символизации; сфера дуализма есть сфера самой теории символизма, рассматривающей проблему дуальности познания и творчества; сфера же конкретного монизма, переживаемого целостно, — сфера Символа; здесь, в третьей сфере, *"открывается возможность искать эстетический смысл тех или иных внешне очерченных истин"* (1904 г., "Окно в будущее"); внешне очерченный, но глубокий смысл имеет для меня энергетический принцип; и в статье *"Принцип формы в эстетике"* я даю эстетику в эмблемах энергетизма, а в статье *"Маски"* подставляю под энергетику эмблему Диониса в согласии с ос-

новным принципом, мне отчетливым: множественность символизации; в статье 1903 года, слабо написанной, попытка набросать 7 картин мироощущений, поставленных как смена образов (в статье *"Священные цвета"*), а в статье *"Смысл искусства"* попытка дедуцировать 8 приемов строить символы, могущих лечь в основу разных художественных школ, ибо символизм — не теория школы, а теория переложения и сочетания школ в энного рода символизациях, подчиненных ритму Символа—Логоса.

Всюду — та же тенденция: к раскрытию эмблематизма познания: Гегель, Фихте и Шеллинг, по-моему, *"вместо того, чтобы понять символизм... метафизику... всяческий символизм... выводили из метафизику"* (*"Символизм"*); но ведь то же утверждала неведомая мне тогда методология Штейнера, ставя на вид, что Гегелева метаморфоза идей и Гетева точная фантазия пересекаемы в третьем: в имажинации; это третье и было моей сферой символизма.

Двадцатилетием ранее меня писал Штейнер (во втором томе своих комментариев к Гете): "Гете различает три метода... Первый есть метод... эмпиризма... Рационализм образует следующую ступень... Ту и другую считает односторонностью Гете... Оба пути суть для Гете лишь проходные пункты..."

Но этого ж и я волил: гносеологический рационализм Когэна, в который разрешалась проблема Канта, преодолевает эмпирический плюрализм; и здесь, в преодолении догматик плюрализма, *"мы... символисты — считаем себя... законными детьми великого кенигсбергского философа"*, — писал я в 1904 году (*"Символизм и критицизм"*); но рационализм преодолеваем в высшую ступень, по Штейнеру, и я утверждал — то же преодоление: *"Символизм, рожденный критицизмом... становится жизненным методом, одинаково отличаясь и от догматического эмпиризма, и от отвлеченного критицизма, преодолением того и другого"* (1904 год, *"Символизм и критицизм"*).

Через десять лет, встретясь с методологией Штейнера, я узнал в ней свои юношеские усилия выволочить символизм из критицизма, но и не отдать его эмпиризму, выставив в тыле повернутые на эмпиризм жерла орудий Кантовой критики. Почему же так не внимали мне иные из друзей аргонавтов, ставшие, как и я, антропософами, в моих доантропософских усилиях высказать нечто антропософское? Да потому, что они не понимали меня как... символиста; не понимали же оттого, что не желали понять: вкусовое отвращение к слову *"символ"* сыграло-таки свою роль; у меня же были веские мотивы не заменить *"синтетизм"* символизмом; синтетизм в теоретическом вскрытии есть рационализм; и — только.

А я, как и Штейнер, волил конкретного преодоления всяческого рационализма, но — знал, что преодоление это вне символизма всегда — падение: в ту или иную догматику от эмпиризма.

У меня были веские идеологические причины бороться за слово, столь не нравившееся... друзьям (от религии или только *"эстетики"*).

Куда только меня не тащили от слова-лозунга: тащили в религию, в мистику, в снобизм, в когенианство; а я — отбивался; декадентам (эстетам-эмпирикам) я казался рационалистом в своем символизме; философы именно за стадию рационализма и предлагали местечко в неокантианском *"бюро"*, но — с неременным условием: отказаться от символизма; религиозники от *"традиции"* соглашались безоговорочно окропить приходской водичею сферу Символа, ценой отказа от Канта и от науки:

Так сферы триады моей беспросветно растаскивались по лагерям, бравшим меня всегда в одной трети: то — только в символизации, то — в религий, то — только в философии; диалектика соотношения, пересечения и течения сфер была всем чужда; плюро-дуо-монизм отрицали: монисты, дуалисты и плюралисты.

Оттого-то никто не увидел подлинного символизма в "*символисте*": в Андрее Белом.

Таково было мое самочувствие в Москве: в эпоху 1904 года, когда я ради повинности появлялся в Астровском кружке преть в аргонавтическом разглагольствовании; и оттуда шел выть по-волчьи с волками по службе: со "*скорпионами*" или "*грифами*".

Эсотерика, интимное, чаяния, мечты о коммуне — их перенес я: их искал осуществить с другими людьми,

В этот период независимо от личных разочарований я погружен в раздумья о том, что есть коллектив в обществе и в общине; я много читаю по социологии (Каутский, Маркс, Меринг, Зомбарт, Штаммлер, Кропоткин, Эльцбахер и ряд других книг); к 1905 году мне уже отчетливо ясно, что "общество" — понятие двусмысленное, что его судьба между все расплющивающей государственностью и между нескрытым конкретно никак ритмом коммуны (общины); возвращения к первобытной коммуне не может иметь места, а принцип коммуны грядущей, в которую мы упираемся, если водим соборности, — не вскрыт никак; всякое общество без развития в нем коммунальной жизни перерождается в государство, не тем только, что оно берется на учет и под контроль, а тем, что оно, всасывая в себя начала государственности, развивает внутри себя 1) аритмию противоречивых стремлений, 2) гнуснейшие формы насилий под флагом руководства одним или немногими, превращающими общественный ритм в плетку; тирания и хаос, механизуемый уставом, всегда давящим индивидуальность членов, — две формы дегенерации общества; общественный коллективизм под давлением извне (городовым) и внутри тираном и уставом для меня — фикция, преодолеваемая лишь свержением всех форм власти (догмата ли, тактики ли, устава ли); преодоление власти ритмом развития делает меня анархистом как индивидуалиста; но, будучи символистом, я самую индивидуальность рассматриваю как лишь соединение многих обличей личности; мой индивидуум — коллектив; и коллектив всякой коммуны, органически сплетенный из членов и тканей, есть индивидуум. Социальность в смысле индивидуалистического коммунизма есть нераскрытое понятие целого; я ее называл "*спящей красавицей*", которую сознание творческих индивидуумов должно пробудить от сна; во сне она зачарована, как примитивная коммуна, как традиционная церковная община, как групповая душа (коллектива, человечества, мира); пробужденная от сна, она — "*София*", как культура коллектива; разумеется, под "*Софит*" я разумею не традиционно-гностическое представление, а символический знак культуры быта новой жизни, ритмизируемой Символом, или Логосом; эта проблема коммуны фигурирует в плохой статье 2-го сборника "*Соборная совесть*" (забыл заглавие) и в статье "*Луг зеленый*", дающей в образах и афоризмах намеков на сложнейшие думы, на чтение социологической литературы и разговоры с Эллисом, бывшим экономистом и марксистом: "*Или общество — машина, поедаящая человечество... или общество — живое, цельное, нераскрытое... существо*" ("*Луг зеленый*"); эмблематизация существа многообразна: ассоциация, организм, церковь, община, София, проснувшаяся красавица, муза жизни, Персефона, Эвридика и т. д. В грезах о коммуне, поскольку ее жизнь не вскрыта

я сознательно допускаю мифологический жаргон, источник скорого чудовищного непонимания меня со стороны, например, Блоков, приписавших в силу интеллектуальной неотчетливости и им присущей "мистики" хлыстовский, сектантский, мистический смысл моим эмблемам.

Разумею же я вот что: ритм сложения индивидуальностей в индивидуум коммуны взывает к равноправному свободному раскрытию всех свойств каждой из индивидуальностей в переложении и сочетании всех видов развиваемых связей от каждого к каждому; коммуна-триада из  $a$ ,  $b$ ,  $c$  личностей, чтобы личности эти в коммуне раскрыли себя индивидуумами, взывает, чтобы " $a$ ", оставаясь " $a$ ", развило бы себя еще и как " $ab$ " в отношении с " $b$ ", как " $ac$ ", как " $abc$ ", как " $acb$ "; только тогда " $a$ " выпрямится в индивидуальной свободе творчества социальных отношений; то же о " $b$ " и о " $c$ ".

Если бы представил себе насыщение социальных связей триады (от каждого к каждому), то фигура треугольника явилась бы эмблемой индивидуума коммуны; в тетраде (четырёхчленной коммуне) фигура развития связей от каждого к каждому выявила бы иную фигуру: квадрата, пересеченного крестом, где четыре личности являлись бы углами квадрата, а пятая точка (пересечения) выявила бы единство коммуны как целого; в пятичленной коммуне ее фигура рисовала бы уже не пять, а десять точек, где пять угловых точек рисовали бы сложенную в фигуру сумму социально проявляющих себя личностей; а пять точек пересечения внутри пятиугольника, образующих внутреннюю пентаграмму, рисовали бы культуру целого или индивидуального быта, не содержащегося ни в отдельных членах, ни в сумме их; эти внутренние фигуры в коммунах с большим количеством членов, свободно развивающих пленум своей социально-индивидуальной жизни, становятся все сложнее и изысканней; эта новая, в сумме неданная постройка внутрикоммунальной жизни и есть следствие действительной, а не механической социализации отношений — в ритме, а не в правиле, законе, насилии одним или немногими других.

Общество — гетерогенно; оно всегда — сырой материал для разложения его механикой государственности или выявления в нем печати Логоса, ритма, внутренней жизни, рост которой символизируем словами: "Где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них". Мой лозунг недавней теургии ("*Се творю все новое*") искал выражения в 1904 — 1905 годах в построении коммуны символистов-социалистов, но не социалистов-государственников; социализация внутренне творимых ценностей — из свободы и из сознания, что *третье*, превышающее двух, четвертое — трех (шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое, сложенные в пентаграмму и превышающие пять членов) и есть новая творимая действительность; преобразование общества — в создании ячеек-коммун, объединенных культурой внутренней жизни; такую коммуны я волил из аргонавтов; но эта коммуна оказалась, с одной стороны, хаосом, с другой — разными общественными, и только общественными кружками Москвы; на них я поставил крест.

Мои надежды на новую коммунальную жизнь — в искании отбора отношений интимных и эзотеричных; такой отбор происходил с 1903 года между Блоками, С. М. Соловьевым и мной — в одном направлении; между мной и Мережковскими — в другом (свидания и жаркая переписка с Гиппиус с 1901 года).

Здесь подчеркиваю, что моими теоретическими оформлениями таких коммун-индивидуумов (или "*монад*" высшего порядка) являлись тезисы отцовской статьи "*Основы эволюционной монадологии*", в которой жизнь



мира рассмотрена как социальное сложение монад в градации неразложимых комплексов все большей сложности; и таким оформлением с 1904 года стал тезис Риккерта о том, что сам индивидуум есть неразложимый комплекс или общество единиц (социальный базис индивидуального). Религиозная символика этой традицией не понятой социальности было учение Апостола Павла о церкви как индивидуально-социальной коммуне; итак — для своего соборного символизма я имел: гносеологическую эмблематику (Риккерт), социальную эмблематику (анархический коммунизм, еще не раскрытый в конкрете коммунальной жизни), аритмологическую эмблематику (учение отца, пифагорейство) и монадологическую (Лейбниц).

Я не был настолько "*идиот*", каким изображен я в биографии тетушки Блока в подходе к Блокам как кандидатам для некоей новой коммуны, — я был слишком критичен; но мое вечное несчастье: наталкиваясь на полную недисциплинированность ума и мистику, я излагал свою сложную концепцию с "*так сказать*"; в результате — грубое возложение дружеских сапогов на плечо моей вполне непонятной идеи об опыте развития *социального ритма* в кругу трех-четырёх-пяти членов.

Не описываю всего "*Балаганчика*" в эпизоде с Блоками и С. М. Соловьевым; разгром моих мифологем — полный; Блок, далекий от социологии, гносеологии и моих идей о критическом символизме, увидел "*мистику*" там, где ее не было; и "*мистикой*" отрицания на воображаемую "*мистику*" налетел лбом на свои собственные темы стихов, которые и осмеял в "*Нечаянной радости*". Л. Д. Блок ничего не поняла, кроме импровизации и авантюры; С. М. Соловьев явился в коммуну с церковными догматами, наспех перекованными на особый лад, придававший идее коммуны вид секты.

В итоге — трагический крах отношении с Блоками, над которым я опустил завесу молчания в воспоминаниях о Блоке ("*de mortuis aut bene, aut nihil*"); скажу лишь: я в этих воспоминаниях себя слишком преумалил "*для ради*" надгробного слова над свежей могилой. Теперь — сожалею, ибо усматриваю спекуляцию на моей скромности.

Утопия с одной из попыток стать на почву новой соборности есть история подмены тонкого и нежного ритма чудовищными искажениями отношений, в итоге которых — удар; утопия попытки зажечь в идейно-религиозной коммуне Мережковских — история другого краха.

Оба подготовлялись с 1905 года, развивались в 1906 году и осознались в 1907-м.

С Мережковскими я сближаюсь через переписку на тему о том, что есть религиозная община в новом сознании; моя религиозность не приемлет догмата, но — символ Христа в лике и импульсе; Мережковский меня преимущественно волнует в 1901 и 1902 годах, в период максимального подъема дерзания, которое для меня — минимально; оно — пункт отчаливания от старых берегов религиозной жизни; в 1905 году я принят в религиозную общину, которая в представлениях Мережковских четко оформлена; оформлена и в открытой своей обрядовой возможности; войдя в эту общину, я вижу, что в ней жива лишь *триада* (Мережковский, Гиппиус, Философов); я же по счету принятия седьмой член (Карташев, две сестры Гиппиус суть четвертый, пятый и шестой члены); нам в триаде нет места: *триада* доминирует над телом общины; и оттого-то наше творчество внутри ее связано. Вот мои ощущения 1905 года; к ним присоединяется ощущение, что самое поле деятельности общины все более и более — общественность, выражающаяся в фельетонизме; и — только; в конце 1905 года в статье "*Отцы и дети русского*

символизма" я говорю этой деятельности "нет", выдвигая между собой и Мережковскими проблему "отцы и дети"; в начале 1906 года — моя последняя попытка живо себя ощутить в общине Мережковских; с 1906 до 1908 года я идеологически на всех порах ухожу от фельетонной общинности; Мережковские не понимают причин моей сдержанности, хотя и я выдвигая мотивы своей критики: отсутствие критицизма, многострунности, нечеткость в социологической проблеме, стабилизации "нового" сознания в догматизм секты; словом, — отсутствие символизма. Мне не внимают.

В 1908 году в письме к Мережковскому отмежевываюсь от него.

Но уже в принципе с 1906 года с утопией о соборном индивидуализме покончено.

## 6

Удар на почве разрыва моего с Блоками выкидывает меня из России в 1906 году; когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901 — 1905 годов под флагом мистического анархизма; этот мистический анархизм генетически возник из моих же усилий разъяснить Блокам и В. Иванову, что есть социальный ритм; в конце 1905 — в начале 1906 года я много говорил с Вячеславом Ивановым на тему об интимной коммуне, указывая на Блока; В. Иванов переводил мои слова на язык своего синкретизма; я свез Иванова к Блокам для разговора на эти интимные темы; позднее я разорвал с Блоками; Иванов же нашел с Блоком общий язык или, вернее, заставил Блока принять сильную дозу своих нечетких идей; он же подставил Блокам фельетонно настроенного Чулкова; оба они наскоро испекли совершенно непонятную платформу соборного индивидуализма, назвав его мистическим анархизмом и притянув за уши к нему Городецкого и Мейерхольда; "мистический анархизм" стал модой петербургских салонов в 1907 году; появились при нем и Модест Гофман, и А. А. Мейер.

Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году; декаданс этого опыта в мистику и "блуд", вносимый развратно-упадочным обществом в тему общины и мистерии и в синкретическую схоластику, якобы дающей идеологию атмосфере "блуда", заставляет меня подумать о максимальных средствах борьбы с направлением, разрешающим проблему мистерии в идеологическую мистификацию на плацдарме театра, а проблему общины в "общность" жен.

Я бронирую свои недавние лозунги символизма в полемику и в вопрос о школе; символизм как школа, мое "осади назад": для реорганизации всего фронта.

Интимное символизма утрачено; оно стало соблазнительною подманкою для дам и юношей, читающих "Крылья" Кузьмина и лесбианские двусмысленности "Тридцати трех уродов" Зиновьевой-Аннибал (жены В. Иванова); а идейный фронт вынесен во все газеты и журналы; я, никогда не думавший стать газетчиком и более всего мечтающий написать философский трактат о символизме, видя в доме символизма пожар, — лечу на пожар с пожарной кишкою: окачивать мистико-анархический пыл струею холодной воды; так я вытянут в газету; все статьи мои того времени в "Бесах" носят газетный характер.

В мистическом анархизме я вижу кражу интимных лозунгов: соборности, сверх-индивидуализма, реальной символики, революционной коммуны, многогранности, мистерии. Я вижу свои лозунги выверну-

тыми наизнанку: вместо соборности — газетный базар и расчет на рекламу; вместо сверх-индивидуализма — задний ход на общность; вместо реальной символики — чувственное оплотнение символов, где знак "фаллуса" фигурирует рядом со знаком Христа; вместо революционной коммуны — запах публичного дома, сверху раздушенный духами утонченных слов; вместо многогранности — пустую синкретическую всегранность и вместо мистерии — опыты стилизации в театре Мейерхольда.

Всему этому я говорю свое негодующее "нет": "Это — не символизм, а фальсификация".

Что путаники вроде тогдашнего Чулкова и Городецкого понесли в теорию мистического анархизма свои наивно-догматические представления былого и жалкий винегрет слов, нахваченных у всех мировых умов без разбора, еще не так оскорбительно для меня; что чувственные дамы и развратные юноши бросились на мистико-анархическую коммуну, приманенные накрашенным Кузьминым, бродящим как свой человек среди "коммунаров", — не это переполняло чашу терпения; что где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино, под флагом той же мистерии — это только смешило; серьезнее было то, что многие, попадая в эту блудливую атмосферу, жизненно разлагались; но всего обиднее то, что два настоящих символиста, Иванов и Блок, не только не вернули своего билета на мистический анархизм, как я, но — наоборот: покрывали молчаливым согласием эту неразбериху; и в своих художественных образах явно смеялись над всем тем, что вчера воспевали; так Блок высмеял в "Балаганите" то, в чем вчера чудовищно запутался; но высмеивал он не свою путаницу, а путаницу, своих "вчерашних друзей", изображенных идиотическими мистиками; этим мистиком являлся для меня он в эпоху нашей с ним переписки; и эта мистика была мною осмеяна в образах "Симфонии" в 1901 году. Выходило же для всех, не посвященных в подоплеку ваших отношений, что какие-то идиоты-мистики затащили мудрого Блока в невообразимую чепуху, отчего им досталось от мудрого Блока; нечего повторять, что одним из "мистиков" был я.

В ответ на такое потрепательство каблуком по плечу я еще в 1906 году ответил рецензией на бред "Нечаянной радости"; смысл рецензии: Блок, подменив святыню муз кощунством, кончился как символ-эсотерик; это было актом сброса каблука Блока с моего плеча; рецензия вызвала негодование на меня; а через четыре года Блок сам признался, что он, подменив святыню муз балаганом, обманул глупцов.

Моя яркая полемика против Иванова, Блока, Чулкова, Городецкого и других "анархистов" — борьба с "обманом"; моя правда в том, что я первый назвал своими именами то, что, происходило с символизмом; моя ошибка в том, что перенося центр в нападение, я не имел времени достаточно разглядеть тылы своих позиций, которые должны были бы быть твердынями; а уж какие твердыни, коли в тылу моем воткнутом знаменем символической школы оказался... Брюсов.

В ответ на *соборность*, вынесенную в газету, я провозгласил свое отходное: "Назад в индивидуализм"; "мистическому", да и всякому анархизму противопоставил социализм: лучше социалистическая государственность переходного времени, чем торричеллиева пустота того "коммунизма", в который проваливается паяц блоковского "Балаганчика", ибо небеса этого коммунизма — папиросная бумага, натянутая на цирковом обруче, в который прыгает Чулков (лучше временный городской, чем угашение сознания у дам и мальчиков для... "странных дел"

мастерства над ними, программа которых — стихотворение Вячеслава Иванова о возможности 333-х объятий; тут ведь  $\frac{1}{2}$  числа звериного "666"\*) вместо объятийной безгранности я провозгласил резко очерченную гранность методологического многогранника, взывающего к критической философии: для протрясения мозгов, не умеющих разобраться в разнице меж причастием и половым соитием; вместо "реальной" символики ощупей телесных форм, эмблем фаллуса и двойного топора доисторических канибалов, столь любезных Вячеславу Иванову (см. его "Религия страдающего бога"), я провозгласил: рано преодолевать критический рационализм, если преодоление — впадение в такую эмпирику; в ней ведь — сфера символизма отрезана от эмпирики; итак, будем преодолевать ее критическим идеализмом Канта (и тут я верен позиции и 1901 года, и 1904 года); мое "назад к идеализму" ведь означало: вперед от "чувственности". Вместо "теургического" искусства любить дам и мальчиков, я провозгласил: рано при таком понимании соборного искусства вылезать из "только искусства"; я провозглашаю: школу, учебу, ремесло, прием, стиль; впоследствии пассажиры с Гумилевым на этой тактической ревизии строят свою школу (через 3 года); вместо революционного максимализма, в эпоху реакции перерождающегося в психологию огарочников, я платформирую: сохранение хоть той партийной левости, в которой застала реакция нас; называть "огарничество" преодолением партийной платформы — жалкий обман. И вместо "мистерии", подмененной Ивановым реставрацией оркестры, а театром Комиссаржевской подмененной технической стилизацией, я рекомендую критически разобрать театр в проблеме синтеза искусств: я указываю на 1) невозможность символической драмы в понимании мистических анархистов, 2) на невозможность "мистерии" в пределах сценических подмостков (она для меня возможна в центре "общины", но моя "община" — сфальсифицирована в "лужок игр"), 3) я указываю на антиномию путей театра (либо — к Шекспиру, либо — к марионеткам); и ставлю вопрос: чего хотят Мейерхольд, Блок и Комиссаржевская? Последняя внимает моим статьям; Блок — тоже. В этом последнем вопросе я раскалываю единство мистических анархистов; Блок под моим давлением публично отрекается от него; Комиссаржевская начинает эволюционировать в сторону от современного театра; эта эволюция приводит ее к уходу со сцены.

Этими темами полна моя публицистика в эпоху 1907 — 1908 — 1909 годов; на газетное искажение задач символизма я отвечаю газетным наскоком; с 1907 года я появляюсь в газетах и из газет открываю пулеметный огонь; нет времени думать об углублении идеологии символизма; и нет времени художественно работать; скажу лишь, что за три года при самом беглом перечислении статей и статей (многих не помню) я насчитываю их в количестве 65; собранные в 1909 году, они составляют  $\frac{3}{4}$  моих книг "Символизм", "Арабески" и "Луг зеленый"; лихорадочная, спешная газетная деятельность — тушение пожара, охватившего символизм, которого кризис — не эпоха 1912 — 1914 годов, а 1907 — 1908-ые; "символизм", как глубокое, критическое и интимное течение, рушился для меня в "символистах"; "символисты" проваливали символизм.

Таков был мой взгляд.

\* Или "пол" звериного числа в смысле "половой проблемы".

И я, видя крах символистов, спешил заранее унести во временную цитадель то, что еще не растлено; цитадель, или полемическая бронировка *интимных глубин* символизма, — сужение его в литературную школу; лозунги "*школы*", выдвинутые московской группой "*весовцев*" с маркой Брюсова, как поднятого на щит вождя, главным образом принадлежат мне.

Вот ракурс этих лозунгов:

1) Символизм базирован всей историей критицизма; он — прорыв самого критицизма в свое лучшее будущее.

2) Он — строящее мирозерцание новой культуры.

3) Теперешние попытки четко зарисовать контуры этой культуры — временные, рабочие гипотезы.

4) Не будучи "*школой искусства*", но тенденцией культуры, символизм в настоящую эпоху, поскольку он черпает содержание у этой культуры, более всего конкретизируется в искусстве; но там он "*школа*".

5) "*Школа*" — условна: пролетариат и класс, зерно надклассовой будущей жизни; он двуедин; то же двуединство — "*символическая школа*"; она "*школа*" в борьбе с догматами школ; и не "*школа*", поскольку любому догмату она противопоставляет весь пленум условно допустимых школьных приемов; и романтизм, и реализм, и натурализм, и классицизм суть вариации темы символизма, т. е. даны в символизме; и вне символизма они — догматические стабилизации.

6) Всякое искусство символично в вершинном и глубинном осознании художниками своего творчества; символическая школа социализирует эти индивидуальные лозунги, затерянные в эпохах и школах, и конденсирует в платформу; в символизме вскрывается самосознание творчества; в до-символизме оно — слепо; в символизме оно — осознано.

7) В популяризации и осознании символического нерва искусства — задание школьных теоретиков "*партии*" символистов; в нем — раскрытие новых творческих горизонтов.

8) В росте этих горизонтов — гарантия роста новых форм словесной изобразительности (произведений символистов, могущих принадлежать к энному роду "*школ*").

9) Символизм не противопоставляет себя *истинному*, связанному в других школах, ибо он — "*так сказать, школа*"; но он же противопоставляет себя как "*школа*" там, где другие школы нарушают основной "*школьный лозунг*" символизма; *единства формы и содержания*.

10) Это "*единство*" не должно быть взято как а) зависимость формы от содержания (романтизм), б) зависимость содержания от формы (формализм, или реставрационный классицизм); единство есть *целое*; *целое* — Символ-триада.

11) Смысл символизма в раскрытии целого как индивидуума и как комплекса (социальная база); индивидуум — коллектив; коллектив — индивидуум; индивидуальная жизнь целого есть содержание форм коллективистической жизни; коллективная жизнь индивидуальностей коллектива есть содержание раскрывающих индивидуальностей; такова трансплантация школьного лозунга в проекцию новой философии культуры; и здесь связь "*школы*" с философией символизма.

12) Наоборот, сужение школьных заданий в проблему слова — в лозунге: языковой символ — метафора (этот лозунг я заимствую из заявлений Вячеслава Иванова и приобщаю к своей программе).

13) Исследования языковедов, поскольку они вскрывают языковую метафору, есть лингвистическая база символической школы.

14) Символическая школа видит языковой свой генезис в учениях Вильгельма фон-Гумбольдта и Потебни (здесь обобществлен взгляд Брюсова на Потебню).

15) Но символическая школа не останавливается на работах Потебни, ища углубления их.

16) Одно из таких углублений вскрывает нам единство восстания языковой метафоры и мифа, где миф есть религиозное содержание языковой формы, а эта последняя есть реализация мифа в языке (спайка с Вячеславом Ивановым).

17) Всестороннее раскрытие лозунга символической школы о форме и содержании дает новые критерии в анализе лингвистических форм, теории слова, теории стилей, теории мифа, психологии, критике и т. д.

18) Здесь символическая школа ставит себя под знак теории символизма как обоснования нового культурного творчества, которого источник — новый человек в нас.

19) От исхода борьбы вырождения с возрождением в нас, в нашей общечеловечности, в классовой борьбе, наконец, зависят пути новой культуры.

20) Конкретизация символизма — творчество самой новой жизни.

21) Разрез ее в сфере искусства и рисует на нем новый знак: символизм, который вскрываем, как искомая теория творчества.

Таков случайный ракурс моей школьной программы, многообразно рассыпанный в 65 статьях, в нескольких десятках рефератов, лекций и заявлений в этом периоде.

Я — появляюсь всюду: воплю, платформирую, нападаю и защищаю; тушу пожар, охватывающий здание возводимого символизма.

Меня — не понимают и тут: ни вчерашние друзья (сегодняшние враги), ни вчерашние враги (сегодняшние друзья), ни исконно близкие друзья, не видящие, что мое тушение пожара — необходимо, ибо через 10—15 лет символизм отпечатлется в десятках профессорских трудов под формой единственно воспринятого символизма — символизма-пародии со всеми его *"мистиками"* и *"трансцендентностями"*; т. е. усвоится не символизм, а *мистический анархизм*; мистические анархисты, испакостив символизм, разбегутся, и в эпоху 1921—1928 годов в *"СССР"* будут публично осмеиваться *"мифы"* о символизме, а истинные символисты будут молчать и вынужденно хлопать глазами.

Нет, — друзья не понимали меня; и на их: *"Охота тебе, Боря, так волноваться пустяками"*, — оставалось лишь горько отмахиваться, спеша на... очередной *"скандал"*.

В этой фазе меня понимали только Эллис и С. М. Соловьев: они видели, что плевела, посеянные в символизм, разрастутся в десятилетиях, потому что вовремя не были подхвачены лозунги символической школы теми, кто бы их мог подхватить; осознание горечи и одиночества в невыносимо трудной роли очистителя авгиевых конюшен вызывали горькие стихотворения *"Пепла"*, вроде:

Все говорят, что я умру,  
Что худ я и смертельно болен,  
Но я внимаю серебру  
Заклокотавших колоколен.

*"Колокольни"* — зов: уйти от шумих, грязи и бесцельного служения другим, даже не понимающим моего альтруизма: но я не уходил, борясь за лучшую память о символизме и символистах, чем та, которая осталась в истории новейшей литературы.

Поэтому я был бесконечно утешен теплым и дружеским подбодром неожиданно ко мне подошедшего М. О. Гершензона, вовремя сказавшего: "Вы правы в вашем негодовании; действуйте и впредь — так же; лучше грубыми ударами напасть на совершающееся зло, чем стыдливо умыть руки".

И несмотря на то что я получил лишь заушения за свою роль полемиста, я в 1928 году, через более чем 20-летие, утверждаю в основном пафос своего налета на *"соборный индивидуализм"*.

Если бы в *"Арабесках"* и *"Символизме"* не осталось следов моего *"нет"* всяким *"мистикам"*, то десятки транскрипций символизма в бездарных и тупых книгах о нем всевозможных Шуваловых не имели бы фактических опровержений в виде подлинного текста статей, написанных в 1906—1908 годах; их не закроешь никакими фальшивками; кто-нибудь явится ж скажет современным истолкователям: *"Что вы врете? Ведь вот что писали символисты"*.

7

Иногда я горько "грустил; все устремление мое написать *"Теорию символизма"* в серьезном, гносеологическом стиле разбивалось о полемику, очередные *"при"* и журнальные темы дня; я все более и более сознавал свое теоретическое одиночество даже среди символистов. Три года упорной журналистики вдребезги разбили выношенную в сознании систему символизма; и "65" статей — дребезги этой недонесенной до записи передо мной стоящей системы. Как ни старался я использовать заказы минуты, просовывая в них контрабандой кусочки теоретических мыслей, платформ *"школы"*, — цельной картины моих мыслей и не могло получиться; она всегда разбивалась здесь о задачу дня (концерт *"Дома Песни"*), там об очередной юбилей или смерть; ну что скажешь о культуре в статье *"Песнь жизни"*, когда приурочивалась к произнесению в день открытия *"Дома Песни"*; на теорию символизма морщился д'Альгейм за то, что символизм оттеснял его *"Дом"*, а за теоретические рассуждения, втиснутые в очередную тему *"Пишбышевский"*, могла обидеться Комиссаржевская, пригласившая меня в свой театр выступить со словом о Пишбышевском.

Мои 65 статей напоминают мне тугие колбасы, набитые двумя начинками: начинкою *"темы дня"* с подложенными в тему кусочками мыслей о символизме; эти последние всегда — *"контрабанда"*; а между тем из сложения контрабандных кусочков и выявилось кое-что из ненаписанной мной системы. Перечитывая теперь грустное сырье *"Символизма"*, *"Арабесок"* и *"Луга зеленого"*, я вздыхаю: все дельное там — контрабанда; а все устаревшее — тогдашняя тема дня. С все большей грустью я продолжал калечить ненаписанный остов системы, с все большей неохотою возвращаясь к полемике, тактике, ибо мне открылась подлинная картина московского *"тыла"* в борьбе символистов; в *"тылу"*, в *"штабе"*, где заседал Брюсов, нами провозглашенный вождь, с удовольствием относились к обкрадыванию петербуржцев и с сонным зевком к заданиям и теориям *"символической школы"*: Брюсов, Ликиардопуло, Борис Садовской; и еще — сколько. Выяснилась и мелочность Брюсова, более всего занятого карьерой в *"кружке"* и среди миллионерш; я стал упираться, когда меня запрягали в работу; но меня подтаскивали к ней уже мои личные друзья (С. М. Соловьев и Эллис), в то время гипертрофировавшие роль Брюсова как *"лидера"*.

Открывался и *"Дон-Кихотизм"* с утопией *"школы"*; было ясно, что кризис символизма — произошел; символисты символизм прозевали,

Меня утешает, что ради утопически воображенной фаланги бойцов, разрывая в себе идеолога, я действовал во имя моральной идеи: служения делу — пусть с мечом в руке, а не с *"оливой мира"*; да, сердечность под формою гнева есть оправдание растоптанию книги и горьким словам, не всегда справедливым; не забудьте, что суетливые жесты статей суть жесты тушения пожара; этим тушением я был во второй половине 1909 года настолько измучен, что даже отказался от *"Мусагета"*, как дела интимной группы друзей; если бы не настойчивость А. С. Петровского в те минуты, я ответил бы на предложение Метнера об издательстве телеграммой отказа; вмешательство А. С. в мою прострацию с его решительным *"Мусагету быть"* определило судьбу ближайших лет.

Метнер предлагает спешным порядком печатать мои статьи; и я, с ужасом видя, что это *"осколки"* разбитого здания, воздвигнутого в сознании, вдогонку уже набираемому *"Символизму"* пишу в 10 дней свою *"Эмблематику смысла"*, долженствующую хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связанном виде; *"Эмблематика"* — черновик предисловия к будущей системе, в котором ответственные места испорчены невнятицей только спешного изложения, а не невнятицей мысли; будь хоть неделя в запасе, эта невнятица была бы элиминирована; и точно так же вдогонку пишу *"Магию слов"*, *"Лирику как эксперимент"*, *"Опыт описания ямба"*, *"Морфологию ямба"* и *"Не пой, красавица"*; в этих сырых статьях влит кое-как тщательно подобранный за четыре года материал для изучения ямба: задание этих статей в *"Символизме"* — конкретно выявить лозунг *"школы"* (единство формы и содержания со стороны формы); единство формы и содержания, рассмотренное со стороны содержания, — материал статей *"Лука зеленого"* и *"Арабесок"*. *Одновременно в два месяца я пишу 200-страничный комментарий к "Символизму"*; вписывая в него эмбрионы ряда статей, которые мне хотелось бы видеть в разработанном виде; например: в голове проносилась большая статья, анализирующая Кантово учение о схематизме понятий в прочтении этого учения теорией символизма; и отсюда мерещился разгляд всей Кантовой аналитики *"Критики чистого разума"* в новом свете; но вместо статей — две странички петита в *"Символизме"*. Странно сказать: *"Символизм"* построен не планом автора, а 1) заказами минут, 2) бешеным темпом набора, зависящим не от меня, а от администраторов *"Мусагета"*.

И оттого-то этот пухлый, безалаберный до ужаса том столь же написан типографией, как и мною.

Если же принять во внимание, что в это же время я дописываю (к сроку же) *"Серебряный голубь"*, то удельный вес работ этого времени по всей справедливости должен бы определяться не под углом зрения их выношенности, а под углом зрения спорта: скачек с препятствиями. Во всех этих неурядицах с текстом меня утешало одно: возможность спокойно заработать над *"Теорией Символизма"* в будущем.

Линия моего поведения в начале 1910 года четка: *московской "школы"* — нет (действительность это мне показала); но и *петербургской "школы"* тоже нет: мистический анархизм, испортив несколько важных страниц истории русского символизма для будущего историка, исчез тоже (в этой порче для будущего, вероятно, и была его миссия).

Стало быть: фактических групп — нет; но есть *"символизм"*; меня интересуют 1) его гносеология, 2) его культура; Э. К. Метнер — попутчик в символизме; но он — трубадур от культуры Тете, Канта, Бетховена; Эллис с его латинизацией символизма мне чужд; я стою на позиции



"русского" символизма, имеющего более широкие задания: связаться с народной культурой без утраты западного критицизма; остальные мусагетцы символизму гетерогенны, а в тройке (я — Метнер — Эллис) я с Метнером против Эллиса и отчасти Петровского и Н. П. Киселева определенно стою за связь с международным философским журналом "Логос" в его представителей (Степуна, Яковенки, Гессена); издаваемый "Логос" — правое ответвление "Мусагета", наглядно изображающее лозунг 1904 года: *символизм плюс критицизм*; левое ответвление соответствующее моей сфере Символа, куда я переношу искание опыта, эсотерики и братства, — "Орфей"; так, сферы Символа, символизма, символизации представлены сферами Орфей — Логос — Мусагет под общим куполом "Издательство Мусагет".

Но тут-то и нарушается гармония в понимании соотношения сфер между мной и Метнером; я вместе с Петровским, Сизовым и Киселевым понимаю идею триады, как три концентрических круга по старому лозунгу, ставящему сферу "символа" в центр; и этот центр мне — "Орфей"; "Мусагет", собственно, как сфера культуры символизации, определяется "Орфеем", а "Логос", или критическая бронировка, оказывается периферией. Метнер, воля "Мусагет" центральным и видя мой переход к "Орфею", усиливающий "орфейцев", сперва тактически, потом полемически и, наконец, идеологически педалирует на "Логос", в свою очередь сильно укрепленный целой группой русских философов с их дядькою, профессором Б. А. Кистяковским; в "Орфее" неожиданно появляется Вячеслав Иванов; Метнер, фактически, — с "Логосом". И мусагетский центр, спайка, опустошен; в нем оказывается как-то забытый Эллис, по особым причинам не могущий сойтись и с орфейками и не принятый философами "Логоса". Тогда он, увлеченный своими внутренними исканиями, собственно вне "Мусагета" организует с художником Крахтом кружок "Новый Мусагет", "Мусагет" в момент рождения оказывается уже "старым"; и, главное, пустым и в центре его имеет место: самопроизвольное разрастание цилиндра Кожебаткина (ставшего секретарем "Мусагета" и одновременно заходившего в цилиндре).

Знак "Орфея" мне важен; измученный фельетонною жизнью трех предшествующих лет, вынеся сферу "символизма" из утопий о группе и из пустого помещения редакции в свой кабинет (мечта о написании философского тома), я вместо "Мусагета" произвольно ставлю знак: "культура", и всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, чтению эсотерической литературы, мечтам об "ордене", встречаю с Минцловой, приходящей к нам со словами о братстве Розы и Креста и с обещанием быть посредницей между тесным кружком друзей и "учителями". По-новому поднимаются во мне думы всей жизни: о коммуне, о братском опыте; ведь эти же переживания, но в иной тональности в 1901 году мне открыли годы зари; заря потухла в нас от неимения руководства на путях духовного знания; ведь еще в 1904 году я писал: "Искусство перестает удовлетворять... ищешь нового руководителя" ("Маски"). Весь крах с попытками обобщить опыт — от неимения духовного руководства; вспоминается крах с "Арго", крах с астровским кружком, крах с попытками приблизиться к теософам, крах с Блоками, крах с Мережковскими; недалёковидность в ориентации на Брюсова и, наконец, новая мусагетская неувязка с ненахождением равновесия между "Логосом", "Мусагетом", "Орфеем"; я вижу, что мы разбросались вширь преждевременно; и, разбросавшись, разорвались в центре, где оказалась дыра (из нее же рос Кожебаткин, являя собой, фокус-покус: "фараонову змею").

Все эти невеселые мысли о нашей внешней культуре решительно концентрируют меня в сердце *"Орфея"*, тем более что в этом сердце уже не *"издательство"*, а лозунги — пути братства, Символа. В самом *"Орфее"* видится мне воскрешение аргонавтизма, но воскрешенье по-новому; Орфей, символ Христа, один из участников аргонавтического похода, становится здесь нашим единственным Пастырем.

Где-то уже вдали стоит переболевший вопрос: как быть с символистами; Брюсов, утопивший *"Весы"* перебегом в *"Русскую мысль"*, скинут со счета, а в *"Мусагет"* является, как в Каноссу, покаявшийся *"грешник"* Вячеслав Иванов, ведомый нашей инспиратрисой, Минцловой; как не принять его, когда и он оказывается ее покорным учеником; мы не папы Григории: и на колени его не можем поставить; между тем: кается в своих мыслях о символизме и Александр Блок: кается в своем мистико-анархическом прошлом. Диалектика жизни, — не тактика, свершившийся факт: три символиста согласны теперь в своем символическом *"credo"*; перегруппировка это или нет — не приходится об этом теоретически думать, но приходится с этим весьма считаться.

Появляющийся Блок тональностью своей встречи со мною не то что склонен к *"ордену"*, но — повернут слухом в его сторону, между тем как Метнер, переброшивавший культуру *"Логоса"* символизм, в сущности, ограничивается лишь официальным расшарком пред заданиями символизма. Весьма характерный факт: он даже не прочел *"Символизма"*; и между тем: о деталях той или иной статьи *"логовцев"* он говорит увлеченно и подчас с преувеличенным почтением, подчеркивая, что штаб *"Логоса"* — лучшие философские умы Германии; и, таким образом, редакция *"Мусагета"* оказывается вдруг склоненной перед невидимым в ней присутствием: Риккерта, Христиансена, Ласка и прочих *"маститостей"*. Это ли не пере-пере-бронировка заданий символизма фрейбургской философской школой?

Все это мне стало вполне отчетливо лишь в 1911 году; но гораздо ранее я заметил: систематическое убегание Метнера от дружеского обсуждения действенной программы символизма в *"Мусагете"*; и вместе с тем — систематическое вмешательство сперва в нашу с Эллисом инициативу двигать символизм, потом препоны моим заданиям; и позднее: препоны заданиям нас, трех символистов (Блока, Иванова и меня), быть автономными в затаиваемом по мысли Блока *"Журнале-Дневнике"*, искаженной тенью которого в 1912 году появляются миниатюрные по размеру, тяжеловесные по ритму и разнокалиберные по составу *"Труды и дни"*, засохшие в моей душе до... появления первого номера (от систематического, может быть, бессознательного вмешательства Метнера); я прилагаю руку к журналу не потому, что им горит душа, а потому что я в Москве являюсь единственным представителем *тройки* символистов (Эллис же уехал за границу); Блок и Иванов в журнале заинтересованы; я — менее их; а между тем: все теории и неприятности от соредатора, Метнера, достаются мне, и только мне; и самая горькая неприятность: муссирование Метнером разговоров о том, что журнал создается для меня (будто он мне нужен) и что *"Мусагет"*, так сказать, жертвует средства на эту мою прихоть; уже от одного этого прихоть моя мне горька, как *"горькая редька"*.

Но горечь свою я утаиваю до времени.

Моя связанность в *"Мусагете"* совершенно исключительна; всякая инициатива подвергнута, во-первых, явно подозревающей критике Метнера, совершенно неопытного в делах тактики (глаз Метнера *"глазит"* меня); во-вторых: подвергнута академическому разбору громоздкой кол-

легии из очень почтенных, но разноустремленных людей: Рачинский, Метнер, Степун, Гессен, Петровский, Киселев, Яковенко, — что общего между ними? Общее разве то, что *"комитетом"* Метнер связывает мне руки и ноги; кто вел журнал, знает, о чем я говорю: так невозможно вести дела, ибо дело инициативы — во-первых: вдохновение в улавливании ритма времени; во-вторых: быстрота и натиск в фиксации *"момента"*; статья, или книга, вовремя не выпущенные, — ужасный редакционный диссонанс; меня держат в состоянии систематического диссонанса; большего недоверия к своей инициативе я нигде не испытывал; в чужих мне по быту *"Весех"* со мною считались, как с имеющим ухо к *"моментам тактики"*; даже Брюсов с его ревностью никогда не вмешивался в темы мои, предоставляя мне *"ловить момент"* и его *"платформировать"*. В *"Мусагете"* же водворяется тяжеловесная аритмия, но нас утешают, что аритмическая коллегия состоит из весьма почтенных, знающих многообразные предметы людей, будто очередной номер журнала — музейный каталог или энциклопедия.

Какая же платформа символизма возможна при понимании журнального дела как проблем... музееведения?

А задумано *"Дело"* было недурно; нужна была лишь ритмизирующая рука; такую рукою могла быть: рука Метнера либо моя; Метнер лежал на добре программы, как собака на сене (ни себе, ни другим); а я пыхтел, обложенный гносеологами (т. е. будущей профессурой), председателем Религиозно-философского общества и... музееведами, статей к моменту не пишущими, но разглядывающими месяцами статьи *"для момента"*.

К этим трудностям, присоединилось еще мое трудное положение между деятелями *"Пути"* и *"Логоса"*. Деятели *"Пути"* (Гершензон, Бердяев, Трубецкой, Эрн, Булгаков, Рачинский) не были единообразною группою; и когда один из них, Эрн, выпустил безобразную книгу против философов *"Логоса"*, я, вместе с Метнером, отнесся с негодованием к позиции Эрна; стоя на платформе *"критицизм плюс символизм"*, я всемерно поддерживал значимость теоретико-познавательной позиции; но я не мог в этой позиции видеть последней цели, которая для меня была в пути символизма; а Метнер в защите *"Логоса"* именно перепрыгивал через символизм с гносеологическим пределом, который он не столько познанием полагал, сколько лирически воспевал; я не мог вместе с ним быть гносеологическим трубадуром; меня же насильно тащили в *"Песни"*; тем менее я мог сочувствовать огульному равнению *"логосами"* всех деятелей *"Пути"* по линии фанатизма Эрна. Гершензон, например, был мне гораздо ближе, чем *"логосы"*; и с рядом моментов позиции *тогдашнего* Бердяева я перекликался; у меня была индивидуальная позиция к каждому из деятелей *"Пути"* и *"Логоса"*. И линию различия я подчеркивал перед Метнером, обижавшимся за *"логосов"* как за *"своих"* и нисколько не обижавшимся на факт взятия *"логосами"* нас, символистов, кроликами для своих логических экспериментов; и выходило: когда к тебе подходил Гершензон с полным уважением и пониманием твоих лозунгов и ты перекликался с ним, то ты *предавал* уже не *"Логос"*, а *"Мусагет"*; когда же ловкой логической джиу-джицею у тебя отрезал в *"Мусагете"* символическую голову, в сущности, философский ритор Степун, то за это обезображивание надо было кланяться и благодарить.

В иных *"путейцах"* мне были близки ноты *"опытного пути"*, как бы они ни оформлялись; в этой ноте они стояли ближе к *"Орфею"*, чем даже иные из *"мусагетцев"* (не говоря о *"Логосе"*). И я отстаивал эти ноты — против Метнера, выдвигавшего мне обидные намеки о моем якобы

тайном перебеге в "Путь" (чего не было); и на меня одного опять-таки валились все "шпишки" (а братья-орфейцы и не думали тут именно поддерживать меня, ибо они не разбирали "путейских" идеологий, лишь "гутируя" их "вкус", — не нравился; но разве на "вкусе" можно что-либо строить, кроме... снобизма?).

Словом: идеологически я был брошен в сеть противоречивых контроверз потому что я хотел символизма, — не "мистики" и не плясания на задних лапках перед чужой гносеологией; но в чужих невнятицах, не понимающий цельной темы моей в ее мусагетской вариации, вырастал обиднейший миф о все и всех предающем путанике, не знающем, чего он хочет.

И поскольку эта легенда росла в "Мусагете" под высоким покровительством "друга", Метнера, поскольку иные из "друзей" недостаточно парализовали ее, она, вылетая из "Мусагета", начинала носиться по Москве в многообразных вариациях; так, с конца 1910 года началась сперва тайная, а потом и явная моя агония в "Мусагете", где не было ни идеологии, ни настоящей интимности.

Но "Мусагет" был последним звеном, связывавшим с литературной культурой меня; и уход из "Мусагета" для меня означал: уход из всего.

Этот уход ускорился трагедией орфейской коммуны.

В третьем томе "Начала века" я подробно описал случай с Минцловой; ее посредничество между интимным кружком и учителями, долженствовавшими среди нас появиться, превратилось в хроническое состояние ожидания, во время которого на наших глазах нарушилось равновесие Минцловой; ее первоначальные ценные указания и уроки (позднее обнаружилось, что эти уроки — материал курсов Штейнера) все более и более отуманивались какими-то не то бредовыми фантазиями, не то кусками страшной действительности, таимой ею, но врывавшейся через нее в наше сознание и заставлявшей меня и Метнера чаще и чаще ставить вопрос о подлинности того "братства", которого представительницей являлась она; ее болезнь и бессилие росли не по дням, а по часам; в обратной пропорциональности с все пышневшей "фантастикой" ее сообщений выявлялись странности ее поведения, оправдываемые лишь болезнью; а — "они", стоящие за ней, в облаках ее бреда все более и более искажались; наконец, становилось ясным, что ее бессилие перед иными из умственных затей Вячеслава Иванова, которого она проводила в "со-брата" нам, выдвигали вопрос: кто же подлинный инспиратор ее — неизвестный учитель или Вячеслав Иванов? Иванов был ценным сотрудником и умным человеком; но я не мог забыть его двусмысленной роли в недавнем мистическом анархизме; для меня во многом Иванов был кающимся грешником, не более: весь же эсотеризм его был для меня лишь более или менее удачной импровизацией над материалом интимных лекций Штейнера, выщепленном у Минцловой (между прочим, — в его книге статей великий процент заимствований у Штейнера, часто субъективированных его личными домыслами); в разрезе "братства" В. Иванов выявлялся все более и более как чужой. Наконец становилось странным: почему все светлое в Минцловой сплеталось со Штейнером, от которого она в болезненном бреде как-то странно ушла, а все темное и смутительное отдавало теми, к кому она пришла и с кем хотела нас сблизить.

Мои сомнения в духе братства, в В. Иванове и в Минцловой под влиянием ряда жизненных случаев достигли максимума весной 1904 года, когда я решил твердо ей это заявить.

Вскоре после этого она странно исчезла: бесследно исчезла; исчезновение это, разумеется, не способствовало доверию к ее мифу о "Розе и Кресте". Но этим был нанесен еще новый удар по моим мечтам

о коммуне; в ударе же самая значимость "*Орфея*" как только издательской марки вполне аннулировалась; орфики мечтали об издании мистиков; для меня это издание имело лишь культурный, а не идеологический смысл; я не только не считал себя "*мистиком*"; я написал статью "*Против мистики*", которая и появилась в "*Трудах и днях*".

Я был символистом, т. е. я требовал критицизма, а критицизм и только "*мистика*" несовместимы.

Последняя точка связи с триадою "*Мусагет — Логос — Орфей*" — отпадала: я был свободен; но моя свобода означала: фактический уход из "*Мусагета*".

## 8

Я хотел бы, чтоб меня поняли: я вовсе не собираюсь на этих страницах стать в позу какого-то непонятого героя; "*героического*" во нет ничего, а психология героизма в данный отрезок времени стоит передо мной, как пережиток далекого прошлого; современный герой и рыцарь — индивидуум; и когда я вглядываюсь в существо индивидуального, я вижу "*героизм*", опрокидывающий во мне все обычные представления о героическом; образ современного "*героя*" есть образ скромной осторожности в условиях прозаически выглядящей окопной борьбы, а не образ трагических поз и бряцаний оружием; в правила поведения современного героя умение не быть раненым равно умению не бояться ран; современный герой должен уметь не выдвигаться наружно, но действовать в "*мы*", с "*мы*"; современный герой есть фаланга, в которой есть и "*храбрецы*", и самые обыкновенные трусы; гармонизировать "*труса*" в себе иногда почетнее, чем подставлять грудь под пули, ибо и это подставление груди в иных условиях современности есть трусость, и только трусость; а частный аспект Дон-Кихота в сегодняшнем выявлении вчерашнего "*героя*" заставляет меня бежать от всего "*героического*", подсмотренного в себе. И если я повторяюсь в своей теме непонятости, то это только для того, чтобы познавательной в ней разобраться; фиксация "непонятости" моим сознанием есть фиксация одной точки, введенной в микроскоп; завтра я фиксирую другую точку поля жизни; и выступит *понятость*.

Тема непонятости интересует меня исключительно в социальном разрезе, где не понято каждое "*я*" в его индивидуально-социальном алкании; выражаясь словами Макария Египетского: еще не понята церковь, как состав человека; а между тем в церковный пленум этот состав должен быть введен, как *другая* часть той же социальной проблемы.

И отсюда уже вытекает, что я не бросаю теней на меня не понимающих "*я*"; я лишь делюсь догадкой: почему мы не понимаем друг друга; подсказ всей жизни: мы оттого не понимаем друг друга, что глядим друг на друга не из индивидуума "*я*", а из индивидуума, надевшего очки своей личной вариации и поэтому вынужденной видеть в другом "*я*" лишь такую же вариацию. Я этого долго не понимал, т. е. не понимал, до чего это действительно так, до чего в этом истинный корень всех социальных развалов; мы друг друга в разгляде друг друга все еще пришиваем к одежде данного дня, а она — изнашивается. Моя боль есть рассказ о том, как меня пришивали к одежде.

Может быть, в другой раз я постараюсь себе дать отчет в том, как я пришивал к одежде друзей; это — труднее, но не невозможно; такие отчеты нужны; без них никогда мы не придем к пониманию друг друга; и никогда не выпрямится без них наша социальная жизнь.

Оговорившись, что в моем страдании от непонимания нет ничего героического, перехожу к выяснению этого непонимания; мне думается, что перманентный скандал, случившийся от моей горячей попытки зажить социально в каждом из коллективов и от горячих попыток зажить со мной, происходил оттого, что я проводил сквозь все коллективы свое конкретное мировоззрение как *символиста*; в нем альфой и омегой был тезис: мировоззрения — узки; они методы; их много; синтез же их — пуст, потому что синтетическое единство самосознания только рассудочная форма в личном сознании; сознание же надличное, индивидуальное есть итог слияния этого рода форм энного рода самосознающих единств разных сознаний в ступенях самосознания; самосознающее "я" в его "само" уже не есть синтез рассудочный, но синтез в действительности: он в *третьем*, определяющем *второе* (личную форму) и *первое* (содержание), поскольку он ни *то*, ни *это* синтеза, он — не синтез, а *символ*.

Утверждая себя символистом, я в гносеологическом разрезе утверждал: единство самосознания Канта есть единство сознания, а не самосознания; и единство — в рассудочной зоне самосознания; антропософия развитие этой зоны в истории связывает с эпохой возникновения, с одной стороны, *личности*, с другой — рассудочного понятия; теория знания на базе домыслов Канта оформляет вспять события жизни мысли от седьмого века до начала эры до середины пятнадцатого столетия; когда организм этой мысли умер, то анатомы занялись его препаратом; если Декарт и Спиноза снимали мускулы с закончившей свое бытие фазы мысли, то Кант первым стал обнажать костяк; и в этом костяке обнаружилось, что понятия "*синтез*" и "*рассудочный синтез*" — тавтология; и всякие попытки иначе понять этот синтез — жалкие заблуждения, ибо понятие "синтез" спаяно со второй ступенью мысли, рационалистической.

Пишу это, чтобы стало ясно упорство мое в нежелании оперировать термином, не приводящим ни к чему иному, как только к констатации, что наше "я" есть форма форм.

Но, утверждая "*символ*" вместо синтеза, я утверждаю, во-первых, что "я" не есть форма форм, коих содержание — "*личность*"; "я" есть "само" самосознания как преодоление и субъекций личного, и объекций общеформального (синтетического); в "*символе*" ритм связей энного рода возможностей выявления "я" в энного рода мыслительных культурах; все это вытекает из разгляда самосознания. Утверждая в 1904 году свой символизм, я утверждал свой доантропософский подход к проблеме, поднятой теорией знания антропософии; если не синтез определяет символ, а обратно, то — и "я" не есть форма форм, но — творимая действительность, которая всегда не данность, но творчески-познавательный результат; в моей идеологии символизма знак этого результата, по-новому освещающий акт познания, и был знак Символа, как действительного пересечения *одного* ряда *другим*; только здесь путь к преодолению и эмпиризма, и гносеологического дуализма Канта, и абстрактного разрешения проблемы знания в рационализме Когена.

В терминах теории знания Штейнера я не мыслил в эпоху 1901—1911 годов; но термины моей теории знания, как бы они ни казались странными; в словесном взятии, указывали и познанию, и творчеству выход в том же направлении, в каком он указан Штейнером.

Моя борьба за символизм, за теорию символизма и за ее девизы (за преодоление эмпиризма, рационализма, но не по Канту) была в полном согласии с тем, к чему я и не мог не прийти в 1912 году, ибо я и был

в том, к чему пришел; Мой приход был приходом к иной терминологии, ставшей мне удобной для диалектического осознания ряда гносеологических следствий из общих тезисов.

Мой девиз "*символ*", а не "*синтез*" мне означал в линии лет: ищи пути жизни и мысли в *этом*, а не в *том* направлении; и я боролся за "*символ*", ибо без этого знака я видел неизбежные свихи: в рационализм, догматизм, синтетизм, эмпиризм, эстетизм, мистику и т. д.

Трагедия моих всех познавательных споров — в том, что, считая акт познания творчеством нового мира, я не мог не видеть, что расхождение здесь есть расхождение и в развиваемом быте жизни; эмпирическая ссора личностей Бориса Николаевича, Льва Львовича, Сергея Михайловича, Эмиля Карловича есть лишь неизбежное следствие неясного понимания Логоса логик друг друга; и оттого-то мой основной удар и упор был в твердости конкретно-познавательного знака, выверенного как нужный и ценный; знак Символа не был для меня знаком Символа веры или знаком символа отвлеченного знания, но знаком конкретного и верного знания и знаемой веры. Символизм, стоявший передо мною как стройная теория знания и творчества, был символом *веры и знания* новой эпохи, обнимающей, может быть, столетия будущего; я подымал знак столетий; и отстаивал знак против будущих ариан, несториан и прочих уже мне видимых сектантов, отклоняющих путь будущего.

Вот источник моей запальчивости, идеологических преи и контроверз.

В 1911 году я видел, что выход Эллису из его скептической теории соответствия лишь абстрактный монизм, что Метнер проваливается в ущелья дуализма, что ему предстоит выбор между рационализмом Когена и одним из многих "*эмпиризм*" (он и выбрал себе — "*эмпиризм*" Фрейда), что С. М. Соловьев катится в традицию, что некоторые из орфейцев — слишком "*мистики*" и т. д. Поскольку этих людей я брал в ноте их протянутости к новой культуре (для меня — символизма), я не мог уступить им Символа моих веры и знания — тем более что были дороже мне в их стремлениях к пути жизни; с каждым ведь в тот или иной период я был кровно связан; и эту *связь* в Символе держал хотя бы... в воспоминании; отсюда моя одновременная разность полемик и тактик, неумелая попытка быть с эллинами, как эллин, с иудеем, как иудей; более всего оскорбляло меня то именно, что меня не видели в пафосе устремления к *верности*; ведь "противоречивость", "неверность" вытекали из лозунга, который всегда инстинктивно был мне ведом: *истинное есть всегда индивидуально истинное; истину познают лишь в ее восстании в индивидууме*; эти лозунги Штейнера, формулированные им за много лет до моих дум, но мне неизвестные, вместе с лозунгами о необходимости брать понятия о правде в круге понятий, или "*истин*", ведь были и лозунгами моей "*Эмблематики смысла*", пусть спешно и невнятно набросанные, но *не до такой же степени, чтобы друзья имели право отказаться от понимания стремлений, их диктовавших*.

Мне и теперь стыдно подчеркивать, что курс 1914 года Рудольфа Штейнера "*О макро- и микрокосмическом мышлении*" есть антропософская, но *полная* транскрипция моей "*Эмблематики смысла*"; тут и там попытка вопрос о мировоззрении заменить теорией мировоззрительного контрапункта; тут и там усилие показать, что надо выйти из мировоззрения в их круг; тут и там мировоззрение расширяемо в микрокосм; у Штейнера микрокосмическое мышление есть дедукция макрокосма; у меня выход к макрокосму есть конечная индукция из вершины пирами-

ды познаний; совпадение — до частных; и тут, и там взят треугольник; у Штейнера как проблема невозможности рационалистически прийти к реальности общих понятий; у меня как ритм преодоления очередной антиномии (формы и содержания) в третьем, как *символе*. "*Эмблематика смысла*" в ракурсе схемы есть разгляд пирамиды, построенной из градации антиномий, преодолеваемых в *третьем*, как вершине треугольника. Обе позиции (Штейнера и моя) суть в разгляде рационализма — диалектический метод; у Штейнера — диалектика мировоззрений; у меня — диалектика методических схем, поданных клавиатурой.

В конце концов: Штейнер мог бы назвать XXXIII курс "*Эмблематикой смысла*", а я мог бы назвать "*Эмблематику*" хоть бы "*Диалектика преодоления микрокосмического мышления в макрокосм*".

Суть не в разности терминов и подходов: суть — в сути.

Как этой сути не увидели: 1) те из друзей, которые в 1912 году обвиняли меня в предательстве "*символизма*" (Метнер, В. Иванов и сколько-то), 2) те из друзей, бывших аргонавтов, потом антропософов, которые, прочтя XXXIII курс, не поставили знака равенства между ним и "*Эмблематикой*".

Повторяю, — пигмею, мне, — стыдно подчеркивать свое сходство в идеях с гигантом; не ради пустого тщеславия я это делаю, а чтобы стало ясно и тем, кто не понял меня в моем якобы перебеге к Штейнеру, и тем, кто не увидел меня в Штейнере до этого перебега, — чтобы стала окончательно понятной моя несносная принципиальность в требовании "*символизма*" и в невозможности уступить его ни "*мистикам*" из "*Орфея*", ни "*логосам*", ни культуре Метнера, ни традиции "*Пути*", ни снобизму "*Весов*", ни "*мистическому анархизму*" Петербурга. Я ходил но годам, с хрипотою вопя: подмена, подмена, подмена. В сознании стояла теория символизма; ее случайная фиксация — "*Эмблематика смысла*"; и раз эта последняя в энном ряде пунктов своего устремления совпадала с не знакомой мне еще методологией Штейнера и с его учением о мировоззрении, то понятно, *за что я боролся и чего не мог уступить*.

Я боролся за верстовой столб с рукой, указывающей направление к *духовному знанию*.

Это — в сторону друзей — антропософов.

А в сторону неантропософов и *некогда* друзей скажу другое: как не видели они в пафосах своего "*да*" мне и в 1901, и в 1904, и в 1906 годах в моем "*символизме*" прорастающей "*эмблематики*", т. е. руки, указывающей путь: не к Канту, традиции, эстетизму, мистике, "*окультизму*" в кавычках, религии, догмату, — а к *духовному знанию*. Или во мне всегда гнезился губительный "*штейнеризм*"; или никакого "*штейнеризма*" не было в эпоху моего вступления в "*Антропософское общество*"; ибо я, пигмей, и Штейнер, гигант, пересекались всегда в исключительной нелюбви к "*измам*".

Вот чего я не понимаю в непониманиях меня и горько стоял над этими непониманиями, постоянно поворачивая в эту сторону разгляда меня в антропософии и антропософов, и неантропософов. И те, и другие с исключительной неохотой, почти с непосредственной враждой останавливали во мне эти попытки договориться: либо молчанием, либо не вполне тактичной переменной темы разговора, либо оскорбительным подозрением меня в хвастливости, неправде, либо диким криком и ругательствами (как Метнер), либо участием в распространении сплетен обо мне, как впадшем в прострацию (как Блок в своем "*Дневнике*"). Я же стремился, чтобы меня поняли и в антропософии, и в не-антропософии,



ибо в антропософию я внес свой "*символизм*" и в своем до-антропософском, "*аргонавтическом*", "*весовском*" и всяком другом символизме был антропософом, медленно раскрывающим антропософию в своем "я", пусть ошибочно, но автономно.

Думается мне, что такое нарочитое неуслышание меня в 1912 году (в бытность мою в "*Мусгагете*") всем пленумом мусгагетцев, такое же нарочитое неуслышание меня через два с половиной месяца (в том же году) после моего разговора со Штейнером тем же пленумом мусгагетцев (с орфейками и "логосами"), обвинявших меня в чем-то (в чем?), происходило именно потому, что никто не прочел моей "*Эмблематики смысла*", зная, что я за нее держусь, как за скудельный намек на ненаписанную систему, плод усилий мысли всей жизни моей (от гимназических раздумий до тридцатилетнего возраста); верю, что эта статья написана трудно, написана плохо (не в мысли, а на бумаге); но ведь она же намек на итог жизненных борений, даже *опытного пути*. Человек поставил себе задачу — жить с друзьями, для друзей; все его личные несчастья от утопизма на этой почве; даже самая неудачность и спешка в написании "*Эмблематики*" — от разгрома журнализмом готовой системы идей, которую не было времени закрепить на бумаге; а сам журнализм и переутомление в нем опять-таки потому, что эмблема столба с рукой к духовному знанию, или "*символизм*", профанировался и подменялся в рядах символистов же; неужели десятилетие дружб, интимных разговоров в том, чтобы отвернуться от разбора того, что "*друг*" считал интимнейшим и серьезнейшим (о, насколько более серьезным, чем писание *стихов* и "*Симфоний*", или участие в "*мистических*" братствах).

И позднее — длилась эта тягостная для меня духота в этом пункте общения не только с врагами антропософии, но и с антропософами; дело доходило до того, что меня срывали в попытках поставить тему моего "*символизма*" в моей антропософии прямыми словами: "*Это — неинтересно*".

— "Как неинтересно? — мог бы я воскликнуть в 1913 году, когда вся душа моя ушла в интимные темы курса, прочитанного в Лейпциге. — Как неинтересно? Ведь разговор идет о том, что без проведения темы *индивидуального* взятия антропософии она в нас вырождается (лозунг Штейнера)" мое, индивидуальное в антропософии ведь было именно переработкой в ней доантропософской жизни. — "Если *это* неинтересно, к чему маниловщина с "*Антропософский друг*"? Какие же мы "*друзья*", если мы друг другу неинтересны в нашем "*индивидуальном*"?"

И теперь с точки зрения очередной антропософской моды говорить об интеллектуальности как *меча* Михаила в борьбе со злом позиция "*Эмблематики*", пусть косноязычно высказанная, и есть позиция этого "*меча*", ибо в ней лозунги 1) *символизм плюс критицизм*, 2) *свобода эмблемации*, переходящая в моральную фантазию, 3) вынесение сферы символа из всех эмблем — такое же, как вынесение сферы воздействия импульса Михаила над вещи покровами, ибо *символ* дан здесь и как предел пределов, и как "*нечто*" конкретное (не "*ничто*").

Очень мне было важно себя объяснить в этом именно пункте во избежание будущих недоразумений.

Оговариваюсь: эти слова мот не суть обвинение, но пояснение, как тема дум о "*непонятности*" развивалась в годах жизни.

Вместе с непониманием моей идеологии шло непонимание моих художественных путей; тут непонимание не было мне столь горестно: как мастер-ремесленник, я прекрасно разбирался в своих достижениях и падениях: лозунг художника о том, что он сам свой "*высший суд*", мне

был свойственен, и не раз написанное подвергалось мною страшному суду; поэтому я не углубляю всех непониманий меня на этой почве; скажу лишь летуче, что мой показ, робчайший, одному из друзей "*Северной симфонии*" (в рукописи) в 1901 году встретил в полной степени угашающую мои искания в сфере искусства реплику: "*Я думаю, что литература не для вас*", Я подумал: "*Если и этот не понял, то где мне, куда мне?*" Голова и руки повисли плетьюми: художнику нужен суд, критика, но именно мотивированная, чтобы ему было ясно: *в чем непонимание*; немотивированные приговоры, молчание, как и беспрокие "*хвалы*", разбивают творчество; я выпускал книгу за книгой, а от многих близких друзей — ничего не слышал: *ни да, ни нет*; не обижался, но — очень огорчался (брань, как и только хвала, — не задевала; но *молчание* — убивало); художник без сердечного общения с ним, как с художником — все равно что неполиваемый цветок: он — чахнет. В эпоху моего решительного перехода от *романтики к реализму* (символизма) я был также брошен; никто меня не встряхнул за "*Кубок метелей*", потрясающе "*проломчанный*", и я, в испуге, рикошетом, кинулся к быту, к народу, приподымая тему "*Распутина*" в процессе ее выварки в народной гуще; не углубляясь в то, что и *тут меня не поняли*, отмечу: многие из друзей, близких ни звуком не откликнулись на "*роман*", и у меня было впечатление, что "*художник*" во мне проживает для них на луне, а "*художник*" все время затрагивал общие всем нам *темы жизни*: в символах. Когда же я писал "*Петербург*", то все меня ругали, терзали, требовали мелком редакционной работы, "*прей*"; в "*Мусагете*" казалось мне, что дебатиремый часами вопрос о *ширифте* есть вопрос всемирно-исторической важности, перед которым мои задачи о форме и о смысле фабулы "*Петербурга*" просто "*бактерии*", недоступные разглядению; между тем я писал о вещах, которые стали историческими фактами: об исчезновении Петербурга, революции, кризисе русской общественности; но, как в эпоху первой "*Симфонии*", мне было сказано: "*Это — не литература*" (новизна формы, может быть, романтика); так, о "*Петербурге*" запомнилась мне одна фраза после прочтения отрывков из него: отчего я не пишу в стиле писательницы Крыжановской; "*Петербург*" казался скучным, неприятным, прозаическим, "*не оккультным*"; надо было писать о переселении на иные планеты, а не о том, что *завтра провалится Петербург*. И кроме того: все меня попрекали, что я оставил "*Симфонии*"; оставил же я форму "*Симфоний*" отчасти и потому, что "*Симфоний*" писались и подавались — *в круг молчания о них друзей*. Теперь сожаления о "*Симфониях*" мною воспринимались как огульное порицание "*Петербургу*"; а ведь его не приняли в "*Русской мысли*"; и никогда я так не нуждался в моральной поддержке, как в эпоху работы над "*Петербургом*". Позднее, когда роман стал далеким и его провозгласили чуть ли не пророческим, я думал: "*Что мне теперь эти признания; если бы одну сотую внимания мне уделили как художнику, когда художник нуждался в поддержке, то "Петербург" был бы куда серьезнее*".

Я был художественно не признан в кругу друзей, отвергнут редакцией, заказавшей роман, с недописанной половиной, которую отчаивался дописать, и я был человечески заподозрен в "*Мусагете*"; кроме того: я был без денег.

Ко всем крахам присоединялась боязнь другого краха: краха романа, которого в атмосфере такого непонимания и подозрения написать невозможно.

Эта мысль о *дописании* романа с сознанием, что не я бросил "*Мусагет*", а "*Мусагет*" меня бросил и что только в полном одиночестве

я могу справиться и с мыслями и просто *с трудом*, от которого зависит мое материальное бытие, — эту мысль обусловило *не* только мое бегство из Москвы и "*Мусагета*", но и бегство с "*вырывом*"; мне ставились все препятствия к отъезду и не обещали облегчений в случае неотъезда: понятно, что мой панический вырыв в Бельгию и жесты этого вырыва, напоминающие агонию, были борьбой и за элементарную свободу, и за верность идеологии, и за "*художника*" во мне; в Москве он уподобился растению, не только не поливаемому влагой, но, наоборот, поливаемому едкими кислотами.

*Я* — бежал.

Случилась старая сказка:

Я бросил грохочущий город,

— как и в 1904, как и в 1906 годах.